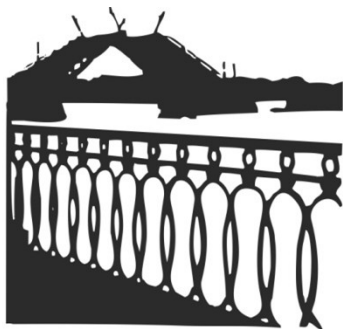


Татьяна Козупеева



**В ТЕ БЛОКАДНЫЕ ГОДЫ
В ЛЕНИНГРАДЕ**



Издание второе

Печатается по решению
Ученого совета ИППЭС КНЦ РАН

УДК 94 (470.23-25)

Козупеева Татьяна Алексеевна. **В те блокадные годы в Ленинграде.**
Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН. 2015.
Издание второе. 101 с.

Воспоминания Татьяны Алексеевны Козупеевой охватывают короткий фрагмент ее большой, полной различных событий жизни. Но именно этот трагический, тяжелый отрезок времени с его невероятными трудностями и невосполнимыми потерями и одновременно с глубокой верой в торжество справедливости, сформировал характер Татьяны Алексеевны, раскрыл лучшие стороны её души, во многом определил её будущую судьбу.

© Т.А. Козупеева, 2010
© Институт проблем промышленной экологии
Севера КНЦ РАН, 2015
© Мурманское отделение русского
ботанического общества, 2015

*Памяти Татьяны Алексеевны Козупеевой,
пережившей Ленинградскую блокаду, посвящается*

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Воспоминания Татьяны Алексеевны Козупеевой (1921-2009) «В те блокадные годы в Ленинграде» были впервые опубликованы в 2010 году по инициативе В.П. Петрова и Г.А. Евдокимовой при горячей поддержке ее сына В.В. Козупеева. Книга сразу же стала библиографической редкостью. Эти воспоминания ценны нам не только и столько как преданье дней прошедших, но и как назидание и предупреждение, особенно в нашем тревожном настоящем. Около года назад электронная версия этой книги была размещена на официальном сайте Русского Ботанического общества <http://www.rossbot.ru/>. И интерес к изданию все возрастает. Год 70-летия победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, как нам кажется, является очень хорошим поводом издать эту книгу и еще раз вспомнить хорошего Человека и преданного науке Ученого.

Более 20 лет (с 1962 по 1986 гг.) Татьяна Алексеевна работала директором Полярно-альпийского ботанического сада-института Кольского научного центра РАН, была действительным членом Всесоюзного Ботанического общества. Она известна как специалист по зеленому строительству и комнатному цветоводству. Много Татьяна Алексеевна сделала для озеленения городов, поселков и производственных помещений Мурманской области, для развития ботанических исследований за Полярным кругом. Под ее руководством поддерживалась и развивалась обширная коллекция оранжерейных растений.

Каждое событие в нашей стране рассказывается не одним, а несколькими способами: есть правда солдатская и генеральская, свидетельства медсестер, выносящих раненых с поля боя, и начальников госпиталей, доклады партийных руководителей и память простого труженика. Воспоминания Татьяны Алексеевны Козупеевой – драгоценный документ времени, изменяющий наше отношение к событиям прошлого, позволяющий расставлять акценты иные, чем те, к которым мы давно привыкли.

По меткому замечанию Л.Е. Улицкой, государство наше дальнорук: мелочей, как правило, не замечает, видит только большую карту страны, оперирует цифрами с большим количеством нулей. Но отдельно взятый человек близорук: в его поле зрения котелок с кашей, теплушка, кипятки, хлебные карточки, мечты о кусочке сахара, синяя отметина на лбу...

По воспоминаниям людей, лично знавших Татьяну Алексеевну, всегда она занимала активную общественно-политическую позицию. Тяжелые и трагические моменты жизни страны также ее волновали, были частью ее собственной судьбы. Таким временем, в частности, стали блокадные дни. Именно этому периоду посвящены воспоминания Татьяны Алексеевны. Как пишет во введении к первому изданию книги В.П. Петров «Воспоминания Т.А. Козупеевой о страшных блокадных буднях Ленинграда – глубоко личные. Ее оценка трагических событий тех дней – это оценка человека, уже прожившего большую, насыщенную неустанным трудом жизнь, но юность которого, первая любовь и первые творческие порывы были опалены кровавой войной, непоправимой личной драмой».

*Е.А. Боровичев
кандидат биологических наук
научный сотрудник Института проблем промышленной экологии
Севера КНЦ РАН; секретарь Мурманского отделения
Русского Ботанического общества*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ушел из жизни светлый человек, один из последних разряда «бессеребренников»: 6 сентября 2009 г. на 89 году жизни скончалась Татьяна Алексеевна Козупеева, родившаяся в г. Ленинграде. Даже такой, казалось бы, длительный жизненный срок завершился быстро, вмести в себя, как и у всех, счастливое детство в дружной семье, учебу в Ленинградской лесотехнической академии, замужество и рождение сына, хлопотную, интересную жизнь на Кольском Севере. Более 20 лет (с 1962 по 1986 гг.) Татьяна Алексеевна была директором Полярно-альпийского ботанического сада-института. Именно под ее руководством Ботанический сад приобрел статус академического института. Как специалист по зеленому строительству и комнатному цветоводству Татьяна Алексеевна много сделала для озеленения городов, поселков и производственных помещений Мурманской области, даря людям радостное настроение и здоровье. Под ее руководством трудолюбивые помощники поддерживали и развивали обширную коллекцию оранжерейных растений.

Татьяна Алексеевна является почетным гражданином г. Апатиты, за свой труд она награждена орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд». Но самой дорогой наградой для Татьяны Алексеевны была медаль «За оборону Ленинграда».

Этим блокадным дням и посвящены настоящие воспоминания, переданные мне Владимиром Викторовичем Козупеевым - сыном Татьяны Алексеевны. В рукописи эти воспоминания мне довелось прочитать дважды. Второй раз они взволновали меня больше. Может быть, потому что сама стала старше, и за спиной уже больше созвучных переживаний. А, скорее всего, потому что самого автора этих воспоминаний уже нет в живых. Много я узнала как бы заново, многому удивлялась, например, существованию стахановских талонов на продукты питания, переименованию священных Дворцовой площади и Невского проспекта, Гатчины. Но больше всего поражаюсь мужеству и стойкости ленинградцев и той девчонки, что написала эти воспоминания.

*Г.А. Евдокимова
доктор биологических наук, профессор
зам. директора Института проблем промышленной
экологии Севера КНЦ РАН*

Воспоминания Татьяны Алексеевны Козупеевой охватывают короткий промежуток ее большой, полной различных событий жизни. Но именно этот трагический, тяжелый отрезок времени с его невероятными трудностями и невосполнимыми потерями и одновременно с глубокой верой в торжество справедливости сформировал характер Татьяны Алексеевны, раскрыл лучшие стороны ее души, во многом определил ее будущую судьбу. А судьба ее была неразрывно связана со всеми превратностями жизни страны, советского народа, родного любимого города и Хибинского края. Во многом она была типична для поколения 1920-1930-х годов, поколения новой советской интеллигенции, своими корнями уходящей в рабочую среду, моральные принципы, установки которой формировались на основе идеалов и практики социалистической идеологии.

Она родилась в семье рабочего – помощника машиниста Алексея Владимировича Щербины. Мать – Прасковья Тимофеевна – не работала, занималась домашним хозяйством, воспитанием детей. Кроме Татьяны Алексеевны, в семье были еще младший брат Юра и сестра, которая рано умерла.

После окончания средней школы, в 1939 году, Татьяна Алексеевна поступила в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта на строительный факультет. Но ей не суждена была нормальная студенческая жизнь. Сначала серьезно заболел отец, и из-за возникших финансовых проблем в семье она была вынуждена перейти на вечернее отделение института и в 18 лет поступить на цементный завод работать табельщицей. Это стало началом ее долгой трудовой деятельности.

Великая Отечественная война с нацистской Германией застала ее за подготовкой к экзаменам. Само восприятие ею этого страшного события было, вероятно, типичным для юного комсомольского поколения 1930-х годов с ее уверенностью в силе родного государства, в скорой и легкой победе, с искренним возмущением вероломством немцев.

Как и вся молодежь того времени, она стремилась всеми своими силами помочь армии, государству одолеть врага, защитить свою Родину, любимый город. Уже с 29 июня она участвует в оборонном строительстве – строит противотанковые рвы в районе с.Рыбацкое, в проведении различных противопожарных мероприятий непосредственно в городе.

А 3 августа как активная комсомолка во главе бригады из работников цементного завода направляется на строительство противотанковых рвов под г.Кингисепп. Здесь состоялась ее первая очная ставка с войной, встреча лицом к лицу со смертельной опасностью, с первыми человеческими потерями.

С началом блокады Ленинграда она работает на Невском машиностроительном заводе им. В.И.Ленина сначала чернорабочей, а затем нормировщицей. Ее личные заслуги в оборонном строительстве и выполнении военных заказов отмечены в июне 1943 года медалью «За оборону Ленинграда».

В тяжелейшую зиму 1942 года она переживает самое страшное – буквально за несколько месяцев на руках Татьяны Алексеевны умирают от голода отец, брат и мать, под бомбежками гибнут ее подруги и ближайшие родственники.

Восхищает и поражает, что в условиях блокадных будней Т.А.Козупеева стремится к знаниям, к повышению своего образования. В марте 1942 года она поступает на второй курс механического техникума с единственной целью – стать машинистом, заменить умершего отца на его трудовом, ставшем боевым, посту. Вскоре она вынуждена прервать учебу и уже 17 апреля поступает на завод им. В.И.Ленина в транспортный цех разнорабочей, затем стропальщицей, а уж потом ее как грамотную девушку перевели кладовщицей, и даже доверили ей исполнять обязанности бухгалтера. Так выковывался трудолюбивый, требовательный к себе, высокоответственный за любое порученное ей дело характер Татьяны Алексеевны.

В 1944 году она поступает на первый курс Ленинградского инженерно-строительного института, но как только из эвакуации вернулась (в октябре 1945 г.) Лесотехническая академия им. С.М.Кирова, она переходит учиться в нее и в 1949 году получает диплом с отличием по специальности «инженер городского зеленого строительства». По рекомендации государственной экзаменационной комиссии она поступает в аспирантуру и 11 марта 1953 года успешно защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по теме «Значение хвойных древесных пород для озеленения городов и населенных мест лесной зоны европейской части СССР». После кратковременной работы в институте «Ленпроект» она 17 июля 1953 года прибывает по приглашению на работу в г.Кировск, в Кольский филиал им. С.М.Кирова АН СССР, в качестве младшего научного сотрудника Ботанического сада. Уже в первые годы своей работы в Ботаническом саду она исполняет обязанности ученого секретаря, затем возглавляет группу интродукции и озеленения.

Полярно-альпийский ботанический сад КФАН СССР был единственным в мире, находящимся за Северным полярным кругом. Он был основан еще в 1931 году по инициативе и по проекту молодого ботаника Н.А.Аврорина, участника первых экспедиций Академии наук СССР на Кольский полуостров. Уже в предвоенные годы коллективом Ботанического сада был начат уникальный эксперимент по интродукции растений различных климатических зон и континентов, изучению почвенных и растительных ресурсов Мурманского края, созданию научных основ зеленого строительства в зарождавшихся городах и поселках Кольского полуострова. Даже в годы Великой Отечественной войны, когда Кольская база АН СССР была эвакуирована в Коми ССР в г. Сыктывкар, заполярные ботаники во главе с Н.А.Аврориным продолжали работать, по существу, в прифронтовых условиях. Ими выращивались лекарственные и витаминные растения для военных госпиталей, разрабатывались технологии получения различных витаминных продуктов из лесных ягод.

Н.А.Аврорин руководил Ботаническим садом до 1960 года. После непродолжительного периода руководства Ботаническим садом Р.Н.Шляковым в июле 1962 года исполняющим обязанности директора была назначена, а затем избрана в соответствии с Уставом АН СССР Татьяна Алексеевна Козупеева. Она занимала этот ответственный пост в течение почти четверти века, оставив его в 1986 году в связи с существовавшими в то время в Академии наук СССР возрастными ограничениями пребывания на руководящих должностях и выходом на пенсию.

С деятельностью Т.А.Козупеевой как руководителя Ботанического сада связаны наиболее значимые достижения в развитии новых направлений научных исследований, укреплении его научного потенциала и материально-технической базы.

Именно в эти годы при постоянной поддержке Президиума Кольского филиала АН СССР Ботанический сад превратился в комплексное научное учреждение, которое в 1967 году приобрело статус академического института. Получили дальнейшее развитие исследования в области почвоведения и агрохимии, изучения растительности Субарктики, обогащения растительных ресурсов Кольского Севера за счет инорайонных форм, декоративного садоводства и озеленения, интродукции новых хозяйственно ценных растений и их защиты от вредителей и болезней. С 1962 по 1986 годы численность сотрудников Ботанического сада практически удвоилась: до 52 человек возросло число научных сотрудников, 21 из которых имели ученые степени доктора и кандидата наук.

Несмотря на большие объективные трудности и задержки, в Ботаническом саду велось строительство нового тепличного комплекса, открывавшего значительно более широкие возможности для введения новых видов растений в практику озеленения городов и поселков Кольского Севера. Сейчас практически в каждом доме имеются самые разные растения, в том числе и цветущие даже в условиях долгой полярной ночи, которые поддерживают физиологические и психологические возможности жителей в адаптации к экстремальным условиям Крайнего Севера. И в этом огромнейшая заслуга лично Т.А.Козупеевой, которая была и большим энтузиастом, и крупным специалистом комнатного цветоводства, оранжерейного выращивания тропических и субтропических растений. Укрепились деловые связи Сада с производственными организациями, прежде всего, с ПО «Апатит», Оленегорским и Ковдорским горно-обогатительными комбинатами, Кольской атомной электростанцией, Северным флотом, атомным ледоколом «Ленин», а также с коммунальными службами городов и поселений Мурманской области. Сад ежегодно передавал для озеленения до 12-16 тыс. семян и саженцев основного озеленительного ассортимента, осуществлял научно-методическое руководство по их практическому использованию. Важное значение приобрели фундаментальные и прикладные исследования, связанные с решением Продовольственной программы СССР и развитием сельского хозяйства в северных районах Нечерноземной зоны СССР, направленные на повышение плодородия и освоение новых земель

Ботанический сад-институт стал полноправным участником активного международного сотрудничества. Обмен каталогами и наборами семян проводился более чем со 100 ботаническими садами и дендрариями стран социалистического лагеря, в том числе таких далеких, как Китай и КНДР. Установились плодотворные связи с Гарвардским университетом и Национальным музеем США, шведским университетом г.Упсала и Хельсинкским университетом Финляндии и рядом других зарубежных партнеров.

За заслуги в развитии ботанической науки, практический вклад в охрану и обогащение растительных ресурсов Заполярья Полярно-альпийский ботанический сад-институт КФАН СССР в 1981 году был награжден орденом «Знак Почета»

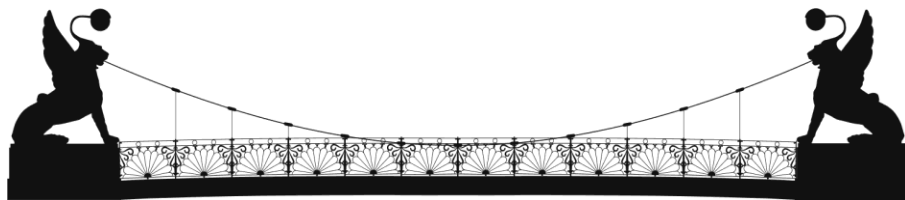
Будучи в течение ряда лет куратором Ботанического сада-института, хорошо помню то глубокое уважение, с которым относились все члены Президиума КФАН СССР к Татьяне Алексеевне не только как к руководителю, ученому, но и как к высоконравственному, принципиальному человеку, внимательному к

своим коллегам, отдававшему всю свою энергию, силу и любовь Ботаническому саду. Жизнь выковала ее многогранный характер. Женская мягкость, застенчивость и подчас кажущаяся робость органически сочетались в ней с высокой требовательностью к себе, к своим коллегам, с настойчивостью и упорством в отстаивании своих мыслей и предложений. За долгий период становления и послевоенного развития Кольского филиала АН СССР она была единственной женщиной в составе его Президиума и директорского корпуса. На заседаниях Президиума ее негромкий голос действовал нередко поистине завораживающе на руководство и членов Президиума, и, как правило, большинство вопросов и просьб, которые она озвучивала, получали в итоге положительные решения.

Она всегда занимала активную общественно-политическую позицию. Вступив в комсомол еще в 1938 году, она уже в годы войны проявляла свои лидерские способности, умение организовывать и воодушевлять своих коллег. В 1962 году она вступила в ряды Коммунистической партии Советского Союза. Ее трудовая и общественная деятельность в послевоенные годы отмечена высокими государственными наградами. Она награждена орденом «Знак Почета» (1975 г.), медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда СССР», почетными грамотами АН СССР, Мурманского обкома и Кировского горкома КПСС, руководства городов Кировска и Апатитов. Она являлась почетным гражданином города г.Апатиты, членом Совета Ботанических садов СССР.

Воспоминания Т.А.Козупеевой о страшных блокадных буднях Ленинграда – глубоко личные. Ее оценка трагических событий тех дней – это оценка человека, уже прожившего большую, насыщенную неустанным трудом жизнь, но юность которого, первая любовь и первые творческие порывы были опалены кровавой войной, непоправимой личной драмой. Любые комментарии к выводам и оценкам Т.А.Козупеевой событий тех дней неуместны. По ее словам, выжила она «благодаря своей молодости, упорному труду, воли к Победе», и можно добавить – неиссякаемому оптимизму и доброму сердцу.

В.П. Петров
доктор геолого-минералогических наук, профессор
заместитель председателя КНЦ РАН



ВВЕДЕНИЕ

- Бабушка, выключи телевизор,
я не люблю смотреть про войну!
– Галочка, это показывают жизнь
ленинградцев в блокаде,
а бабушка всю войну была в Ленинграде.
– Хорошо, бабушка, посмотри,
а потом расскажешь мне,
как ты пережила ту блокаду.

Январь, 1987 год

Вот и внучке моей Галочке уже в четыре года серьезно захотелось знать, что такое блокада, и как в то время жили люди.

Мысль о том, что нужно написать о тех далеких годах, пережитых в Ленинграде, тех трудных блокадных днях, возникла у меня очень давно. Об этом напоминали частые сны, наполненные обстрелами, бомбежками, немцами и всеми ужасами войны. А в 1972 году в необходимости таких записок я убедилась окончательно.

В тот год, в канун дня Победы, я выступила перед своим коллективом в Полярно-альпийском ботаническом саду с докладом "Историческая победа в Великой Отечественной войне. Подвиг Ленинграда". Народу собралось много, слушали очень внимательно, была необычайная тишина, а мне было трудно говорить: нет-нет и подступит к горлу ком, и нужно преодолеть замешательство так, чтобы слушатели его не заметили. Но все прошло хорошо, только я после выступления почувствовала себя совершенно разбитой.

Перед тем как выступить, я думала: «А нужно ли? Поймут ли меня люди, особенно молодежь, которая знает войну только по книгам да кино?» И опасения мои оказались не напрасными.

Когда через три дня после моего выступления женщины поздравили меня с Днем Победы как участницу войны, присутствующий здесь же научный сотрудник А.Ф., член партии (родился незадолго до войны), был удивлен: ведь Татьяна Алексеевна не была в армии! Когда же ему стали объяснять, он, опять ничего не поняв, сказал: "Ну что же, можно поздравить с тем, что осталась жива!"

А ведь дело не во мне, нет!

В дни блокады ленинградцы не думали о спасении своих жизни; они, как и все живые люди, просто не хотели умирать! А смерть их поджидала на каждом шагу: уносил голод, косили осколки снарядов и бомб, нередко люди находили смерть под развалинами своих жилищ. В неимоверно трудных условиях ленинградцы трудились, отдавая все свои силы, сначала на то, чтобы не пропустить немцев в город, а затем, чтобы отогнать их от родных стен.

В то время, когда немцы наступали на Москву, а Ленинград находился уже в кольце блокады, в самое трудное для него время голодные ленинградцы отправляли на Московский фронт оружие, созданное ими в обледенелых цехах, почти при полном отсутствии электроэнергии. А какой трудный пешеходный путь преодолевали эти изнуренные люди от дома до своего станка на заводе. Это не просто жизнь - это подвиг! А ведь иногда приходится слышать и такие слова: "Ну и что! Если бы мы были в то время в Ленинграде, мы бы работали не хуже вас!" Заслужили ли блокадники такие слова, слова, которые отражают черствость души, эгоизм, злобу, бесчеловечность! Такие люди не в состоянии оценить всего подвига советского народа, завоевавшего Победу. И чтобы сердца людей не черствели, чтобы память о жертвах войны, о жертвах Ленинградской блокады, о жертвах лагерей смерти была для них святой, надо больше писать о народе, его подвиге, нужно говорить правду о войне, о ее потерях. В статистических данных и сейчас еще фигурирует цифра - 600 тысяч ленинградцев погибли в годы блокады. Так ли это? Ведь только на Пискаревском кладбище захоронено более 400 тысяч человек, на Серафимовском более 200 тысяч (по опубликованным данным). А на других кладбищах почему не считают? На Невском кладбище (Веселый поселок) захоронено 87 тысяч человек. А сколько братских могил на Богословском, Преображенском, Киновеевском и других кладбищах!

О миллионе жертв блокадного Ленинграда во время войны писал английский писатель Верт. Зачем же нам это скрывать, если о памяти вызывают погибшие блокадники из своих братских могил. И все это простые труженики, честные добрые люди. Это они своей смертью защищали Ленинград, отдав до конца ему свои силы и всю жизнь.

Ольга Берггольц писала:

*Я никогда героем не была,
Не жаждала ни славы, ни награды,
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
Я не героиствовала, а жила.*

Эти слова можно отнести ко всем ленинградцам, которые, как и Ольга Федоровна, работали в родном Ленинграде, изнуренные голодом и морозами, обстрелами и бомбежками. Они остались защищать свой город, о котором Ольга Берггольц в самые страшные дни первой блокадной зимы сказала: "Наш город в кольце, но не в плену, не в рабстве. Враг пытается убить в нас волю к жизни, сломить наш дух, отнять веру в Победу, но мы верим... нет, не верим - знаем - она будет!.. Победа придет, мы добьемся ее, и будет вновь в Ленинграде тепло и светло, и даже... весело. И может быть, товарищи, мы увидим наш сегодняшний хлебный паек, этот бедный черный кусочек хлеба, в витрине какого-нибудь музея... И мы вспомним тогда наши сегодняшние дни с удивлением, с уважением, с законной гордостью".

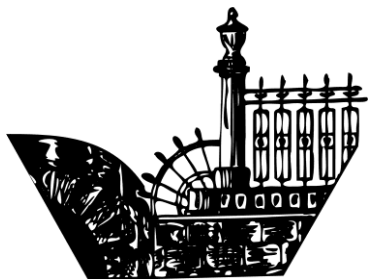
"Бессмертен подвиг Ленинграда в грозную пору Великой Отечественной войны. Ни жестокие бомбардировки с воздуха, ни артиллерийские обстрелы, ни постоянная угроза смерти не сломили железной воли и патриотического духа ленинградцев.

Девяτισотдневная защита осажденного города - это легендарная повесть мужества и героизма, которая вызвала удивление и восхищение современников и навсегда останется в памяти грядущих поколений" (Из приветствия в связи с 250-летием города).

О Ленинградской блокаде написано много. Испытывая всю тяжесть тех лет, сердцем писали в те дни Ольга Берггольц, Вера Инбер, Александр Прокофьев, Вера Кетлинская, Николай Тихонов, Александр Крон, Всеволод Вишневский и многие другие.

Глубоко в детские сердца запали все ужасы блокады, а потом нашли отражение в поэзии Юрия Воронова и Олега Шестинского. Целую эпопею блокадных лет передал в своем романе Александр Чаковский. Есть произведения и малоизвестных авторов, но все они неповторимы, так же, как неповторимы судьбы людей.

Эти записки я пишу для внучки, для детей моих друзей. В них нет выдумки, они до некоторой степени автобиографичны, в них хочется показать жизнь, повседневный труд самых обыкновенных людей - ленинградцев в дни блокады. Хочется, чтобы новые поколения знали, как жили ленинградцы в те голодные, ужасные дни и не теряли человеческого достоинства, сберегая нравственность, доброту и взаимопонимание.



ТАК НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

О том, что началась война, мы с моей подругой Зиной Быстровой узнали на Кировских островах. В понедельник, 23 июня, мы должны были сдавать экзамен по основам марксизма-ленинизма, вот и договорились провести воскресный день в Парке культуры и отдыха им. С.М.Кирова с учебником в руках. Приехали мы пораньше, но яркий солнечный день не располагал к зубрежке, и мы все бродили по аллеям в поисках укромного местечка. В это время впереди послышалось какое-то необычное, тревожное сообщение по радио. Это было выступление В.М. Молотова.

На нас, 18-летних девчонок, для которых жизнь еще только начиналась, оно не произвело впечатления страшной вести. Выслушав

до конца сообщение, мы продолжали бродить по аллеям. Готовиться к завтрашнему экзамену мы еще не настроились и принялись за обсуждение только что услышанного. И со всей, свойственной молодости энергией и уверенностью, стали возмущаться наглостью и лживостью немцев. Ведь совсем недавно заключен мирный договор. И вдруг война! Ну же и покажем мы им! Наша армия сильная, непобедимая! Да и ребята, наши сверстники, все уже в армии. Незадолго до войны многих студентов призвали в армию и даже объявили дополнительный прием в институты.

Так рассуждали мы в первый день войны. И вдруг в наш разговор вмешался мальчик, высокий, худенький, лет четырнадцати. Наш громкий разговор, невольно услышанный, привлек его внимание. Он поравнялся с нами и с какой-то горечью, укоризной сказал: "Эх вы, такие взрослые и ничего-то вы не понимаете!" И ответная реакция: "А ты-то откуда выискался такой понимающий?"

Мальчик рассказал нам, как жили они с отцом и матерью на финской территории, а когда началась война с финнами, финны расстреляли родителей на его глазах. Расстреляли около церкви и других коммунистов. Кто-то успел спрятать мальчика, а когда пришли русские, они как сироту взяли его в Ленинград. Его приняли в семью совершенно незнакомые люди (у них не было детей) и окружили лаской и заботой. Он жил с ними на Старом Невском.

Нам стало жаль мальчика, который так боялся войны. И этот мальчик пытался нас, взрослых, убедить, что война прежде чем закончится, может принести слишком много горя. Он, сам переживший многое, рассуждал как взрослый, а нам война была знакома из кино и книг. Правда, Финская война и нас коснулась: в городе была светомаскировка, зимой ходить было очень темно, из института на войну (тогда не называли фронтом) ушел отряд лыжников-старшекурсников. В госпитали привозили раненых, а еще больше обмороженных. Но об этом в газетах не писали, а только шли разговоры среди ленинградцев.

Да, была Финская война, было тревожное время в Ленинграде, но запомнилось оно светомаскировкой, да очень сильными морозами - температура доходила до 40 градусов ниже нуля.

Совсем не думалось, что война может нанести вред Ленинграду. К счастью, она кончилась довольно быстро. Вот тогда нам и казалось: разбили финнов даже при наличии такой страшной линии Маннергейма, так почему же не разобьем немцев?!

Дома встретили меня озабоченные, расстроенные родители. Им все это было понятнее. Добрейшие люди, они переживали за своих детей - у меня был 17-летний брат Юра. Они не могли понять той романтики, которая увлекала нас. А война есть война! С первых дней она стала вторгаться в нашу жизнь.

Уже 22 июня Ленинград был переведен на военное положение. А в ночь на 23 июня в 1 час 45 минут нас поднял вой сирены, по радио диктор несколько раз объявил: "Внимание, внимание, говорит штаб местной противовоздушной обороны города Ленинграда. Воздушная тревога! Воздушная тревога!"

Мы выскочили на улицу. Была белая ночь. Вскоре был дан отбой воздушной тревоги - попытка прорваться в город немцам не удалась!

Сдав в понедельник последний экзамен, во вторник я пришла на работу. Работала я тогда на 10-м элементном заводе за Невской заставой. И побежали, заспешили дни напряженной военной жизни. Завод выполнял военные заказы, люди работали сверхурочно. После работы выходили копать щели для укрытия населения на площади Культуры и на улице Ткачей, недалеко от дома.

С 29 июня по решению Ленгорисполкома "О привлечении граждан к трудовой повинности в Ленинграде, Пушкине, Колпино, Петергофе и Кронштадте" мы после работы ездили в село Рыбацкое копать противотанковые рвы. Нас было много: рабочие, служащие со всех предприятий Володарского района (в настоящее время Невский район). Это были в основном женщины.

Грунт был глинистый, тяжелый, приходилось много работать и ломом, на руках образовывались кровавые мозоли. Но работали все на совесть - ров становился все глубже, стена отвеснее.

На заводе часто устраивались учения групп самозащиты. Мы учились ликвидировать очаги химического поражения. В жаркую погоду в противоипритных костюмах и в противогазах было очень трудно дышать, но готовились ко всяким неожиданностям.

Дома радио не выключалось. Из репродуктора все чаще и чаще раздавались слова: "Воздушная тревога! Воздушная тревога!" Немцы уже много раз пытались прорваться в Ленинград, но им это не удавалось. Метроном отстукивал свое время, и вновь раздавались фанфары: "Отбой воздушной тревоги". В начале войны дисциплинированные ленинградцы при первых звуках сирены бежали в укрытия, бомбоубежища, покидая дома, трамваи и автотранспорт до отбоя. Группы МПВО спешили на сборные пункты, дежурные с противогазами занимали свои посты, строго следили за вверенным объектом, в темное время проверяли светомаскировку, и если где-то просвечивала даже узенькая полоска света, тут же раздавался милицкий свисток, которым были снабжены дежурные. Дежурили по очереди все жильцы дома, дежурила и мама, которой исполнился уже 61 год.

Война полностью перевернула жизнь ленинградцев: люди много работали на своих предприятиях, организованно выезжали на строительство оборонных сооружений вокруг Ленинграда, после работы убирали чердаки, красили балки огнеупорной краской, носили воду в установленные там бочки, заполняли песком ящики, ночью дежурили на чердаках и крышах (туда залезали обычно мальчики и девочки - школьники).

Уже в июле от предприятий стали отправлять бригады работников на оборонное строительство на дальние рубежи. Строили противотанковые рвы, устраивали завалы, устанавливали надолбы. 1 августа меня пригласил директор завода тов. Файнгауз и сказал: «От нашего завода мы направляем бригаду в 21 человек под Кингисепп на строительство противотанковых рвов. Участок опасный, недалеко от фронта. Тебе как комсомолке доверяем людей, ты отвечаешь за их жизнь». Я почувствовала большую ответственность, но меня смущало то, что почти все были старше меня, тут нужен был определенный подход.

Вечером 3 августа мы собрались на Варшавском вокзале. Я очень волновалась, пока не собрала всех. Долго ждали поезда. Народу было очень много. Наконец подали и нам длинный состав. Мы ехали к фронту.

Мама с тревогой проводила меня, дала с собой крупы, сухарей - ведь неизвестно, как там будут кормить. Я же уложила в чемодан свое лучшее платье, кофточки, чтобы было во что переодеться после работы. Нас уже захватила война, а мы все не могли оторваться от мирной жизни.

Поезд отправился из Ленинграда в темноте. После многих волнений мы быстро заснули. Ночью долго стояли где-то между станциями. Поехали, когда стало светать. Вдруг поезд резко остановился, послышался крик: "Воздух!", и мы высыпали из вагонов и побежали в лес. Мы действовали так, как нас учили в начале пути. В это время над составом, почти над самыми крышами вагонов, пролетел самолет, выпуская одну за другой пулеметные очереди. И когда мы стали выходить из леса в надежде, что опасность миновала, самолет снова вернулся, но выстрелов уже не было. Когда все стихло, поезд отправился дальше. К утру мы благополучно добрались до станции Вруда. В течение всего дня мы шли по дорогам и без дорог, прямо по полям. Очень жаль было топтать горох и рожь. Нас старались провести поближе к лесу, так как не один раз появлялись в небе самолеты, а когда уже к вечеру мы остановились на привал, над лесом низко пролетел разведчик.

Наш путь лежал в деревню Яблоновка. Деревни, попадавшие на нашем пути, были разрушены, население уже ушло, только на отдельных развалинах еще встречались старые люди.

К месту назначения мы пришли вечером. Нас привели в лес, дали два часа на установку палаток, ужин и отдых. Мы взяли маленькую палатку на троих и договорились держаться вместе: я, Юля Зельпауш, студентка 2 курса института и Володя Шустов, только что окончивший ремесленное училище. Мы нарубили лапника для подстилки в палатке, поели, что прихватили с собой из дома, и как только стало совсем темно, нас строем повели на работу. Это было недалеко от наших палаток, по другую сторону дороги, перед самым лесом.

Работали в темноте, работой руководили военные. Народу было много. Всем бригадам раздали участки. Каждая бригада старалась изо всех сил, чтобы не только не отстать от других, но и выйти вперед. Работа тяжелая, как и любая земная работа, через каждые 50 минут делали перекуры. Утром мы слышали гул самолета. Нас заранее

предупредили, что при первой команде "воздух!" все должны бежать в лес. Мы так и сделали. К работе больше не возвращались. Нас отправили спать. Где-то, не так далеко, шли бои - не умолкала канонада, содрогалась земля от взрывов. Но, несмотря на все это, после длинного пешего перехода и ночного труда мы спали до обеда.

Каждой бригаде выдали ведра под суп и кашу. Жора Капранов сам вызвался сходить за обедом. Помочь ему я попросила Володю. Столовая, где готовили в больших котлах обед - солдатский суп и пшенную размазню, — находилась через дорогу, в маленьком одноэтажном домике в ложине. Повара были свои. После обеда многие снова легли отдыхать, ведь среди нас было больше пожилых людей, и путь для них был, конечно, очень утомителен, да еще и ночная работа. Нужно было отдохнуть к вечеру - ведь как только начнет смеркаться, снова на работу.

Но молодость берет свое. Наша неразлучная тройца выпалась и пошла бродить по лесу. Погода была прекрасная, ярко сияло солнышко, и мы вышли на дорогу, пошли обследовать окружающую местность. Недалеко обнаружили серый большой одноэтажный дом, построенный в виде буквы П. Окна были закрыты. На некоторых из них установлены металлические решетки. Дом был явно нежилой. Перед ним большой сад. Мы отправились на разведку. Пройдя через сад, мы поднялись на высокое крыльцо, открыли дверь и вошли в помещение. Внутри был коридор, вдоль которого размещались двери с вывесками, означающими названия палат. Это была больница с родильным отделением. Она уцелела совершенно неповрежденная, и внутри еще чувствовалась былая чистота, светлые стены, белые столы и табуретки, новые кровати с панцирными сетками. Правда, кругом валялся мусор: газеты, тряпки, стружки. Мы с любопытством и какой-то ноющей грустью осмотрели помещения. Вероятно, срочная эвакуация больных не позволила увезти все необходимое. Нам стало не по себе - вот они, первые впечатления от близости фронта.

К ужину мы вернулись в лес. Здесь уже звякали ведра, дежурные спешили за кашей.

Народ отдохнул, лес наполнился разноголосицей, впервые он принял столько людей.

После ужина, еще засветло, вышли на работу. Нас торопили, да мы и сами спешили. Ночью в темноте вставали на значительном расстоянии, опасаясь задеть лопатой или ломом друг друга, на перекур садились тут же, чтобы не потерять свое рабочее место. Ночи были очень темные. Фонарики имели только военные, да и те пользовались ими редко и осторожно.

В ночь на 7 августа погода была теплая, работать стало жарко, с неба на нас смотрели звезды. И вдруг послышался звук приближающегося самолета. По команде "Воздух" мы все бросились в лес. Там стояли воинские части. Каждый искал себе кустик для укрытия, как советовали нам военные. И я шмыгнула под какой-то кустик. Слышу голос солдата: "Кто здесь? Уходи скорей!" - "Почему?" - "Если сейчас начнут бомбить, ты взлетишь, и ничего от тебя не останется." - "А ты?" - "Я не имею права отойти". Там оказались бензобаки. Полетав над лесом, самолеты оставили ненадолго нас в покое, а мы продолжали работать. С рассветом снова вернулись, и мы вынуждены были покинуть уже оформившиеся противотанковые рвы.

В ночь на 8 августа погода испортилась, стало пасмурно, накрапывал дождь, но мы, как всегда, упорно трудились. За эти дни было немало сделано, но и впереди еще работы было много.

Утром дождь разошелся, и, несмотря на мокрую погоду, самолет снова загнал нас в лес. Мы забрались в палатку, но вскоре проснулись оттого, что на нас капало. Наверное, палатка наша была плохо натянута. В палатке все было мокрое, и мы решили отправиться в помещение больницы, которую обнаружили по приходе сюда. Предупредили наших из бригады, взяли свои чемоданчики и решили до обеда побыть в сухом помещении. Заняли кровати в родильном отделении. Пришли сюда и другие окопники. Попрыгали мы на панцирных сетках и скоро уgomонились - захотелось спать.

Кто-то спрятался от дождя в том одиноком маленьком домике, в котором уже готовился обед. Люди были на чердаке, когда появился немецкий самолет и пролетел над домиком так низко, что на крыльях была видна свастика, виден был летчик. Какая-то храбрая девица в красном платочке высунулась в слуховое окно и погрозила ему кулаком. Самолет развернулся и выпустил по окну пулеметную очередь. Бедная девушка поплатилась жизнью.

Мы втроем вернулись в лес - приближалось время обеда. В лесу было сыро, но дождь поутих, и люди уже пытались разжечь костры, чтобы как-то обсушиться. В это время над лесом появился самолет. Военные заставляли тушить костры, которые очень дымили. Дым поднимался над лесом. Один костер пытались погасить и мы, но он дымил еще больше. К нам бежал с ведром супа Жора. Я ему кричу: "Выливай в костер!", а он не решается. Выхватила я у него ведро и вылила - костер стал затухать. Тем временем самолет кружил над вершинами деревьев и обстреливал нас из пулемета. Мы с Юлей, где стояли, там и легли, а вокруг нас в землю вонзались пули. Володя стоял и не соглашался пригнуться. У него мама была в командировке в Финляндии, и он считал, что ее нет в живых, так зачем же ему жить? Мне силой пришлось заставить его лечь на землю.

В лесу началась паника, суматоха. Появились раненые. Мы стали собирать нашу бригаду, но не могли найти даже Нину, которой была доверена аптечка. Были ли даны какие-то распоряжения свыше, но до нас они не дошли, или сам народ решил уходить - потянулась по дороге целая вереница окопников. Женщины в белых платках шли по направлению к станции. После того, как над ними пролетел самолет, не все поднялись. Уткнувшись лицом в траву или прямо в грунт дороги, они остались здесь навсегда. Мы все это увидели позже, а пока мы побежали за своими вещами в больницу - наши чемоданы оставались там. Но вернулись мы без вещей. Всегда среди людей попадают хапуги, мародеры. Из моего чемодана были взяты мои платья, крышка оторвана, рис и манка, которые мне положила мама, рассыпаны по полу. Юлиного чемодана мы совсем не обнаружили. Это произвело на нас удручающее впечатление.

В лесу мы уже никого не застали. Кругом были разбросаны вещи, валялись чемоданы. А где же их владельцы? Живы ли?

У одной из палаток мы заметили женщину. Она сидела растрепанная, какая-то обезумевшая, безразличная. У нее, вероятно, был перелом руки. Рука была как-то неестественно согнута и очень распухла. Мы разыскали аптечку, привязали к руке шину и подвязали руку косынкой. Взять женщину с собой мы не могли, ее нужно было как-то отправить с машиной. К нам подошел солдат и сказал, что раненых собрали у обочины дороги и отправляют с попутными

машинами. Мы оставили женщину вместе с ними. Раненые ждали своей очереди. С ними оставался военный.

А что же делать нам? Куда исчезли все окопники?

Был полдень, но погода была ужасная, небо свинцово-серое, дождь лил как из ведра, то и дело что-то вспыхивало, и раздавался гром, да с таким треском, что мы невольно прижимались к земле. По дороге идти было опасно, а в лесу мы больше никого не встретили, и я решила сама вывести Володю и Юлю к станции лесом. Но ориентироваться в лесу я не умела, да еще при такой беспросветной погоде. Надежда была только на свою интуицию. Это была моя ошибка.

Мы долго шли по лесу, взяв то направление, которое нам казалось кратчайшим. В воздухе стоял постоянный гул, и никак мы не могли разобрать, что это: то ли гроза, то ли слышится недалекий бой. Много раз я прикладывала ухо к земле и пыталась что-то понять, но земля зловеще гудела и содрогалась - это где-то недалеко шел бой. Сколько нам еще идти, и правильно ли мы идем, мы не знали, но упорно продолжали идти. Да и что нам оставалось делать?! Уже становилось темно, когда мы встретили солдата. Не успели мы и рта раскрыть, как он стал на нас кричать: "Куда идете? К немцам! Рядом фронт, немцы наступают!" До сих пор страшно вспомнить, неужели он, в самом деле, подумал, что мы шли к немцам. Обложил нас солеными русскими словечками, но все-таки поверил, наконец, что мы заблудились. Помог нам выбраться на дорогу и показал, в каком направлении идти. Тем временем стало уже совсем темно, но мы теперь уверенно шли по дороге. Идти было тяжело, за день мы находились по бездорожью и кочкам и промокли до нитки. Мое драповое пальто, которое мама сшила из папиного, настолько намочило, что тянуло к земле - с него стекала вода. Мимо нас изредка проходили грузовые машины, они везли с фронта раненых. Одну из машин мы решились остановить. В кабине сидели три человека. Шофер остановил машину и махнул рукой на кузов: «Залезайте скорей!» В кузове лежал тяжелораненный красноармеец, и сидели еще двое солдат. Раненый при каждой встряске стонал, солдаты поддерживали его и молчали. Мы ехали, а вдаль, на горизонте, полыхало огромное зарево - это горел Кингисепп. И этот горящий город не отпускал наши растревоженные чувства, завораживая своим жутким заревом, охватившим полнеба.

Когда мы подъехали к железной дороге, шлагбаум был закрыт. Солдат, охранявший шлагбаум, заглянул в кузов и спросил, откуда и куда мы едем. Мы рассказали все, как было, он назвал нас дезертирами, высадил из машины и посоветовал вернуться обратно. Но куда? Там уже никого не было, ведь мы уходили последними.

Как нам стало известно уже много позже, в тот день, 8 августа, немцы начали наступление на Кингисеппском направлении. Наиболее сильный удар был нанесен по правому флангу наших войск, в Кингисеппском секторе. На Кингисеппском направлении враг имел в пятнадцать раз больше танков, чем советские войска. Однако в первый день наступления, когда шел проливной дождь, и фашистская авиация не появлялась над полем боя, атаки 41-го танкового корпуса были почти безуспешными. Продвижение противника на участке 90-й стрелковой дивизии измерялось сотнями метров. Ополченцы Московской заставы не отступили ни на шаг. Но 17 августа противнику удалось захватить Кингисепп и повернуть на Нарву. Одновременно они прорвались на станцию Волосово. Их выбили, но атаки повторились. Не имея сил удержать поселок, наши части откатывались к Красногвардейску (ныне Гатчина). В бой вступили гарнизоны Красногвардейского укрепленного района. Борьба переместилась на ближайшие подступы к Ленинграду.

Да, обо всем этом мы узнали много позже. А в ту ночь, когда нас не пустили за шлагбаум, мы, промокшие, замерзшие и усталые, искали пристанища.

Поодаль от дороги мы увидели в темноте силуэт двухэтажного дома. Поднялись на крыльцо и вошли в темный коридор, в глубине которого из-под двери выбивалась тусклая полоска света. Мы постучали в дверь. В большой комнате горела свеча, и за столом сидели и стояли моряки в бескозырках и бушлатах. Мы попросили приютить нас до утра. Они предложили Володе остаться с ними, но он захотел быть с нами, и тогда нас всех проводили на чердак. Там стояли железные кровати, вместо матрацев на них было сено. Моряк осветил их фонариком, и мы как были в мокрых пальто, так и легли. Он предупредил нас, что в три часа ночи будет проходить эшелон, и они нас разбудят и отправят в Ленинград. И еще он нам сказал, что может быть всякое, и чтобы мы не поднимали паники ни при каких обстоятельствах. В прошлую ночь в

вагон со снарядами попал вражеский снаряд, и было страшное зрелище: рвались снаряды, кругом все горело. Мы дали обещание не паниковать и тут же заснули.

Утром я проснулась то ли от того, что солнце бросило свои лучи мне в лицо, то ли от взгляда моряка, который стоял в дверях. Да, когда я открыла глаза, и первое, что увидела: стоит высокий, широкоплечий моряк (о таких говорят: косая сажень в плечах) и упирается обеими руками в косяк двери. Увидев, что я проснулась, он стал извиняться. Оказывается, они будили нас ночью, но мы не проснулись, и эшелон ушел, а когда будет следующий и будет ли еще, неизвестно, поэтому он посоветовал нам отправляться пешком до станции Волосово. В это время раздались тревожные звуки горна, и моряка как ветром сдуло. Мы выглянули в окно - последние моряки уже на ходу запрыгивали в машины. Две машины на большой скорости выскочили на дорогу и направились туда, откуда мы пришли вчера.

Дом опустел, и мы отправились вдоль железнодорожного полотна, как нам успел посоветовать моряк. День был солнечный, и теплые лучи досушивали нас в пути, а мы шли, шли по направлению к Ленинграду. Тишина, не видно людей, хочется, есть, решили свернуть по дороге в деревню. Дома почти все пустые. Но в одном мы застали женщину. Она дала нам молока с хлебом, и мы снова вышли на железнодорожное полотно. Шли очень долго и только к вечеру добрались до станции Волосово. Станция была разрушена. Народ ждал поезда с утра, кто-то сидел уже вторые сутки, но никто ничего не мог сказать определенного. Прилетел фашистский самолет и сбросил несколько осколочных бомб. Люди находились в безопасных местах, подальше от вокзала, поэтому жертв не было. На вокзале мы достали хлеба и, не надеясь уехать сегодня, отправились дальше. По дороге заночевали на сеновале брошенного дома, а на другой день добрались до Красногвардейска.

Здесь мы узнали, что скоро отправится в Ленинград товарняк. Мы забрались на платформу. Народу было много: и такие же окопники, как мы, и беженцы с оккупированной немцами территории, усталые ребята и старики. Все это производило удручающее впечатление. Ехали долго и лишь к вечеру добрались до Ленинграда. На вокзале мы расстались и отправились по домам. Темный вечер прикрывал наш растерзанный вид.

Я бежала домой, уже познавшая горечь войны, хотелось поскорей войти в родной дом после таких блужданий. А дома уже оплакивали меня. Начальник цеха Морголин после возвращения всех окопников на завод, подождав еще два дня, сообщил маме страшную весть. Ведь тогда из нашего района погибло 17 человек. И вот, в то время, когда меня считали уже погибшей, я вернулась домой. Бедная мама, бедные папа и Юрий, сколько они пережили и как были рады, когда увидели меня живой! Такое трудно описать!

Большими глазами нас встретили и на заводе, но уволить еще не успели. Тогда я работала табельщицей.

Долгожданного письма от своего товарища Василия я не получила и после возвращения с окопов. А как я его ждала! Вася служил во флоте на Балтике. Перед самой войной он в конце письма написал мне: «Целую!» Глупая девичья гордость воспротивилась: как же так, без разрешения? И последовал ответ: "Тебе никто этого не разрешал, можешь больше не писать". И Вася не писал - обиделся!? А тут началась война. Как же быть? И я написала ему: "Не сердись на меня, пиши".

Вот и ждала ответного письма и не знала, дождусь или нет.

Письмо пришло в конце августа, написанное карандашом на тетрадном листе крупными, кривыми буквами. Вася просил извинить, что не смог написать сразу - совершенно не было свободной минуты, готовились на передовые. А плохо написано, потому что едут в поезде, очень трясет, и буквы ложатся коряво. Он так и писал: "Едем на фронт с морской пехотой, что случится, сообщат друзья. Иди к маме, она примет тебя как дочь, ей сообщат в первую очередь».

Это было последнее письмо с дороги на фронт, тревожное и в то же время проникнутое боевым настроением. Теперь я могла только ждать, самой писать было некуда.

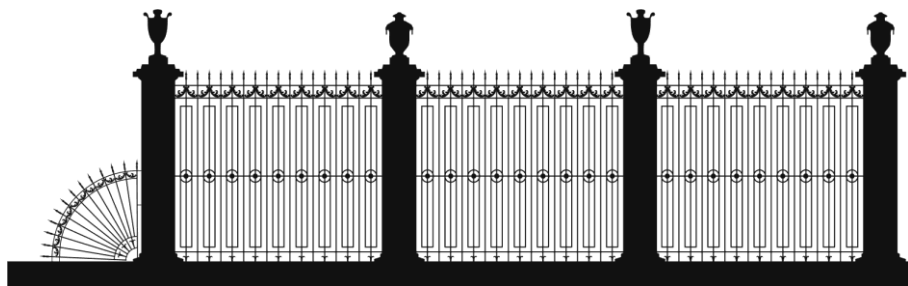
И я ждала, а писем все не было и не было. И стало уже невольно ждать. Попросила брата Юрика сходить к Вовке, Васиному брату, и узнать, нет ли каких известий от Васи. Я стеснялась пойти к его матери. Тетя Паня пришла сама к нам домой. Писем она от Васи тоже не получала, и мы договорились, если кто из нас что-то узнает первым, тут же сообщить друг другу. Вскоре она отправила младшего сынишку Володю к бабушке. Мужа ее мобилизовали. Так тетя Паня осталась

одна. Изредка она заходила к нам. От Васи по-прежнему ничего не было. Сама тетя Паня поступила работать санитаркой в госпиталь на Минеральной улице.

Жить в городе становилось труднее. Работали по 10-12 часов. Пока ни одному самолету не удалось прорваться в город, но тревоги были частые, во время которых били зенитки. Все это действовало на нервы. Я воспринимала вой сирены спокойно и не спешила в укрытие, хотя в первые месяцы войны по сигналу воздушной тревоги всех заставляли укрываться в щелях или бомбоубежищах. А вот Люся Самбунова, моя подружка, ужасно боялась тревог. И почему? До войны храбрее ее в нашей компании никого не было. Она ничего не боялась: была первой заводилой во всех мероприятиях, вместе с мальчишками плавала до середины Невы, была комсоргом, пионервожатой, хорошо училась. Казалось, ничто ее не может испугать.

Но вот началась война, и, услышав звук сирены, она хватала меня за руку и бежала. Куда? По-моему, она и сама толком не знала. На нее находил панический страх. Как-то я ее спросила: "Что с тобой? Никогда не думала, что ты такая трусиха, да и сейчас не верю". Она ответила, что и сама не понимает, что с ней творится. Люся работала на заводе Ленина. Однажды, в первых числах сентября, когда начались первые обстрелы, она с ужасом рассказывала, как обстреливали их завод, снаряды рвались около их цеха. Она спряталась за железной бочкой, а вокруг летели осколки, лежали раненые и убитые, что еще больше ее напугало, и звуки сирены были для нее каким-то кошмаром.

Во время одного из первых обстрелов погибла Нина Жукова, девочка из Люсиного класса. Она дружила со своим одноклассником Виктором Соловьем. Его не призывали в армию из-за физического недостатка - он сильно хромал. И вот в один из вечеров Нина пришла к нему после работы. Он жил в деревянном домике, недалеко от школы № 6. Нина попросила Виктора попить, и он вышел на кухню. В это время перед домом разорвался снаряд. Когда Виктор вбежал в комнату, Нина лежала в луже крови. Она была убита осколком снаряда, влетевшим в окно. Ниночка стала первой жертвой среди наших школьных товарищей.



В КОЛЬЦЕ БЛОКАДЫ

С 4 сентября немцы стали регулярно обстреливать город. Снаряды летели в цеха в рабочее время и разрывались в часы пик на улицах, на трамвайных остановках, у проходных заводов, когда люди шли с работы.

С 8 сентября, когда Ленинград был взят в кольцо блокады, начались и бомбежки города. Никто не мог знать, где его настигнет смерть. В Ленинграде не было безопасного места, где бы можно было надежно укрыться.

Наша семья жила по-прежнему в полном составе, в армию никого не брали. Папе было уже 54 года, маме 61 год, а брату исполнилось 17 лет. Все мы, кроме мамы (она была домохозяйкой), работали: папа на Октябрьской железной дороге помощником машиниста, Юрик - на заводе Ленина фрезеровщиком, я на элементном заводе - табельщицей. Того пайка, который мы получали по карточкам, нам хватало. Мама даже отдавала часть хлеба тете Пανε Русовой, которая как-то ей пожаловалась, что стало голодно.

2 сентября было первое снижение норм на хлеб и другие продукты, но, казалось, что это ничем нам не угрожает, мы надеялись на скорый разгром немцев.

Домой с работы мы возвращались поздно, на заводах проходили военную подготовку. Мама никогда не была спокойна за нас. Часто обстреливали завод Ленина, да и на хлебозавод, расположенный рядом с нашим заводом, нередко обрушивались бомбы и снаряды, а станция Сортировочная, где работал папа, находилась не так уж далеко от линии фронта. Мы все жили в тревоге друг за друга.

Теперь реже приходилось встречаться с Люсей Самбуровой, Надюшкой Быковой и Ниной Кузнецовой. Мы с Люсей много работали, Нина и Надюшка учились в Медицинском институте и проходили ускоренный курс учебы, проводили много времени в госпитале, проходили там практику, дежурили у раненых.

В то время все были очень заняты. Вся наша жизнь была подчинена военному времени, о мирных делах некогда было и вспоминать. С 1 сентября в одних институтах были прекращены занятия в связи с тем, что студенты работали на оборонительных рубежах, дежурили в госпиталях, другие институты к этому времени были уже эвакуированы. Железнодорожный институт, где я училась на заочном отделении, тоже эвакуировался - документы вернули. А учиться так хотелось!

8 сентября, после массированного налета фашистской авиации, над Ленинградом поднялся черный дым. Он застилал небо в стороне Бадаевских складов. Но мы не могли поверить, что это горят именно они. Мы долго еще стояли во дворе и, чувствуя запах какой-то необычной гари, гадали: что же это может так гореть? Но слухами земля полнится. Вскоре мы убедились, что это, действительно, горят склады. Они чадили долго. В результате через три дня мы получили продукты уже по нормам второго снижения.

Время шло, а нормы все сокращали и сокращали: 1 октября - в третий раз, 13 ноября - в четвертый, 20 ноября - в пятый раз. Жить становилось все труднее и труднее. В первое время, простояв в длинных очередях, еще можно было достать дуранду. Вначале это была подсолнечная дуранда, а потом соевая. Из первой мама делала лепешки, вторую парила в чугушке, в печке. Вместо крупы нам выдавали чечевицу. Ее мама тоже варила в печке, где она лучше разваривалась. Но в октябре уже и этого не было вдоволь. Юрик с ребятами сходил к Средней Рогатке за хряпой и принес полный мешок мороженых капустных листьев. Рассказывал, как начался обстрел поля, и как они ползком выбрались оттуда.

У нас был белый сибирский кот. Он первый почувствовал голод. Мы еще чем-то набивали свои желудки, а он отказался и от дуранды, и от хряпы, а в начале октября его не стало. Мы переживали смерть кота, но не думали, что такая же участь ожидает и людей.

Все реже и реже мы встречались с друзьями; 6 октября я работала в ночную смену. Обычно уходила на работу за 2-3 часа, чтобы не застрять в дороге - налеты на Ленинград и обстрелы участились, почти ни одного вечера не проходило без тревог. На этот раз я решила перед работой зайти к Люсе, ведь мы не виделись с ней уже три дня. Сказала об этом маме и пошла, как всегда, в конец нашей улицы Ткачей. Раньше я всегда ходила мимо Воробьева дома с надеждой встретиться с Сергеем. Теперь его уже не было в Ленинграде, он был куда-то отправлен с училищем, а я по старой памяти бегала мимо его дома, с грустью оборачиваясь на его окна.

Не дойдя до Воробьева дома, я вдруг вернулась: мне захотелось закончить картину, которую я рисовала на работе, приходя на 2-3 часа раньше, или во время тревог, когда все уходило в бомбоубежище. Совсем недавно, когда я рисовала во время налета авиации (бомбили тогда мельничный комбинат имени Кирова), наш завод так трянуло, что доска, на которую была прикреплена бумага, ударила мне по лбу, на котором еще осталась синяя отметина. Хорошо еще, что какой-то умный человек заклеил стекла марлей, и они все потрескались, но остались на марле. Картина подходила к концу. Это была копия с изображения украинской девушки у колодца в летний вечер. К ней тянулись гуси. От картины так и веяло тихой мирной жизнью.

Я пришла на работу рано. Тревоги в тот вечер не было, у меня оставалось три часа до работы. Я заперлась в кабинете и стала рисовать. К началу рабочего времени закончила картину, как мне и хотелось, а к Люсе решила зайти завтра.

Когда я утром вернулась с работы домой, мама была очень расстроена. Оказалось, ей снова пришлось пережить несколько страшных часов. Ведь я ей не сказала, что передумала и решила зайти к Люсе на другой день, что пошла прямо на работу. А вечером, после 8 часов, без объявления тревоги Мартыновскую улицу, где жила Люся, всю, с начала до проспекта Села Смоленского, немецкий самолет-разведчик пробомбил осколочными бомбами, пролетев над самыми домами и деревьями. Наша улица проходила рядом, параллельно Мартыновской, и, конечно, маме сразу стало об этом известно. Юрий побежал узнать, что там случилось. Он увидел поврежденные дома, узнал, что Люся убита, ему сказали, что меня там не было. Мама не

знала, где я, и с нетерпением ждала утра. Она переживала и за Люсю. В нашем доме Люся была как родная, так же, как и я в их доме.

Когда я вернулась, и мама мне сказала о случившемся, я не стала есть, побежала туда. Мне не верилось, ведь я должна была видеть Люсю еще вчера, как же я отложила встречу на сегодня, когда ее уже нет в живых?

На улице был полный разгром. На панели и проезжей части валялись доски и щепки, где-то была пробита крыша, расщеплен балкон, валялись огромные сучья тополей. Я вбежала во двор Люсиного дома, здесь тоже все напоминало о вчерашней трагедии: поврежденные военные машины, ломаное крыльцо, пробитая стена. Поднялась к Люсе на второй этаж. Она лежала, прикрытая до подбородка, лицо было в осколках, но казалось живым, спокойным.

В то время Мартыновская улица была застроена одноэтажными и двухэтажными деревянными домами. На участке улицы, где жила Люся, они располагались по одной стороне, напротив был склад. У каждого дома был садик с крупными тополями и ивами. Высокие пышные деревья росли и во дворах. Воспользовавшись хорошей маскировкой, военные поставили на придомовых участках свои машины - остановились на отдых. Молодые ребята вместе с жителями домов собирались вечерами во дворе, играли в домино и карты, вели беседы. И в тот теплый вечер после работы народ собрался во дворе. В это время без объявления тревоги какой-то ретивый фашист пробомбил всю улицу на бреющем полете. Еще никто не успел понять, в чем дело, как Люся, заслышав взрывы, сорвалась с крыльца и ринулась в щель, расположенную за домом. Но она не успела добежать и до середины двора: ее настигла бомба. Осколки летели во все стороны, был ранен ее брат Виктор, соседка Леля и кто-то еще. Люсин отец в это время шел с работы. Он схватил Люсю на руки. На ней загорелось пальто, руки и ноги были оторваны, на земле остались лужи крови. Она погибла сразу. Через три дня мы хоронили ее на Охтинском кладбище. Погода была солнечная, несколько раз нас останавливали сигналы тревоги, приходилось прятаться в укрытиях, а Люся одна оставалась на улице. Над нею угрожающе гудели самолеты: фашисты не один раз в этот день бомбили город. И было страшно за нее, ведь она была одна, а она так боялась воздушных налетов. Совсем недавно мы похоронили Нину

Жукову, не прошло и месяца - не стало Люси. Какие утраты и потери нас еще ждут впереди? Сколько еще будет длиться эта страшная война? Так, наверное, думал в тот день каждый из нас.

Да, уже с первых месяцев войны мы начали терять своих друзей и знакомых. Не одна Люся погибла в тот день на Мартыновской улице. У Нины Беляковой осколком бомбы была убита бабушка, у Надюшки Быковой во время дежурства погиб отец. Совсем недавно она похоронила мать и тут же лишилась отца. Люди погибали, а те, кто оставался, работали, боролись за жизнь, верили в победу.

А жить становилось все труднее! Третье снижение продовольственных норм принесло ощущение голода. Все чаще и чаще хотелось есть.

От Васи не было никаких известий. Я не расставалась с его фотографией, с его довоенными письмами. По многу раз в день смотрела на фотографию, перечитывала письма. Как жалела я, что не успела написать ему хорошего письма. Если бы только у меня появилась такая возможность, уж теперь-то я не постеснялась бы ему написать обо всем, что накопилось у меня на сердце. Если бы он только знал, как я его люблю!

На обратной стороне его фотографии я написала: "Жди меня и я вернусь, только очень жди!" Мне действительно казалось, что мое ожидание его спасет, я верила, что он вернется. И я ждала, ой, как я ждала его!

В конце сентября - начале октября, когда я работала в ночную смену, во время тревог, а то и просто после обхода всех цехов, я забиралась на крышу третьего цеха, прижималась к трубе и вглядывалась в даль, где часто-часто вспыхивали разрывы. Было это где-то в районе Шушар и Колпина. А мне представлялось: немцы посылают снаряды нашим, наши бьют немцев, и там, где наши, там Вася. И при каждой следующей вспышке я вздрагивала: только бы не задело его. Как я хотела в тот момент туда, быть рядом с ним. Много ночей я провела на крыше; в одном халатике, не чувствуя холода, я думала только о Васе, представляла картины боя и его в том пекле, но я никогда не могла его представить убитым или раненым. Я представляла его таким, каким знала до войны. Во всех моих делах, во всех моих мыслях он был всегда со мной.

Однажды, прижимаясь к трубе, я видела, как фашист пытался разбомбить Финляндский мост, который находился от завода на расстоянии трамвайной остановки. Легчик низко опускался над мостом и сбрасывал фугасные бомбы. По самолету беспрестанно били зенитки, а бомбы падали то с одной, то с другой стороны моста прямо в Неву, но в цель так и не попали. Фашисту удалось уйти невредимым, но и мост остался цел. Потом еще много раз пытались немцы уничтожить этот мост, но им даже не удалось повредить его. Всю войну здесь железная дорога работала бесперебойно.

В октябре в школе № 18, в Школьном переулке, были организованы краткосрочные курсы медсестер. Я решила пойти на фронт и поступила на курсы. Каждый день после работы я ходила на занятия. Мама очень переживала, но молчала, она никогда не возражала нам, тем более теперь. И только когда папа сказал, что он пойдет со мной, я решила немного подождать: у папы было слабое здоровье. Юрик в то время проходил допризывную подготовку. Я пожалела и маму.

На рассвете, когда я управлялась с табельным учетом, я ходила по цехам и помогала выполнять те или иные операции. Чаще всего я помогала на обвязке. В этот цех я пришла еще в 1940 году и не только выполняла норму, но и сумела догнать Валю Антонову, дававшую две нормы.

С начала войны работы было много. Завод завалили военными заказами, но уже в октябре не всегда хватало материалов. То не было оцинкованного железа - простаивала паялка, не хватало миткаля - нечего было делать в обвязке; все чаще и чаще были простои.

Работали мы с Катюшей Русовой в одной смене и вместе ходили на работу. Особенно запомнились ночные смены в конце октября - начале ноября. Приближалась зима, были заморозки. С наступлением вечера, а, особенно к ночи, небо становилось ясным, и ярко светила луна. Эти светлые лунные ночи запомнились на всю жизнь, особенно, предпраздничные лунные вечера и ночи, когда через каждые 10-15 минут немцы пытались прорваться в Ленинград. Мы выходили из дома за 2-3 часа, чтобы попасть на завод к 12 часам.

Первое время мы еще пытались прятаться, потому что нас просто при первом сигнале тревоги выгоняли из трамвая и всех загоняли в щели. Трамвай не всегда останавливался близко от щелей, и по сигналу

"отбой воздушной тревоги" мы не успевали добежать до своего трамвая. Садись на другой, и снова воздушная тревога, и снова поиски укрытий.

До завода было пять трамвайных остановок, и мы решили ходить пешком или садиться на трамвай только на большую остановку до Мельничного комбината. По задворкам мы добирались своим ходом быстрее, чем на трамвае. Во время тревоги, чтобы не терять время, не отсиживаться в убежищах, мы бежали по дворам, где-то нас дежурные ругали, загоняли в подъезды. Тогда еще на проспекте Села Смоленского было много деревянных домов. Мы наблюдали за дежурным, который проверял маскировку. Как только он исчезал где-нибудь за углом, мы бежали дальше.

Где-то хлопали зенитки, жужжали самолеты, иногда в небе разгорался бой. И когда нам становилось страшно, сами забегали в подъезд деревянного дома, как будто это нас могло спасти. А иногда старались не обращать внимания и бежали дальше - что будет, то будет! Как они врезались в память, эти предпраздничные лунные, морозные ночи.

В одну из таких ночей, когда мы с Катюшей были на работе, на наши дома было сброшено несколько десятков зажигалок. Потом Юра нам рассказывал, как они с ребятами их сбрасывали с крыши прямо на улицу. И на других домах тоже ребята не дали загореться крышам. Так ребята, особенно мальчишки, школьники 12-15 лет, боролись с пожарами. Они считали это своей обязанностью, своим долгом.

В первые месяцы войны в школе № 120, напротив нашего дома, был организован госпиталь для раненых бойцов. И как только объявляли тревогу, кто-то в конце здания выпускал зеленые сигнальные ракеты. Там была квартира нашего завхоза. Говорили, что его потом поймали. Возможно, и в этот раз ракеты указали путь зажигалкам, они тогда попали и на госпиталь, и на рядом стоящие дома. Во время одной из бомбежек фугасная бомба попала в расположенный поблизости дом № 14, но, к счастью, она не взорвалась.

7 ноября был праздничным, выходным днем. На заводе установили усиленное дежурство. А 6 ноября вечером мы сидели дома у репродукторов и с трепетом ждали выступления Сталина. Мы верили, мы надеялись, что именно Сталин выступит. Ведь не было праздника,

чтобы выступал кто-то другой. И долгожданный час настал, мы услышали знакомый голос Сталина. Немцы пытались заглушить его. В эфире что-то визжало, скрежетало, трещало, было трудно разобрать слова. Но это был голос Сталина из Москвы. Мы пытались ловить каждое слово, что с трудом удавалось. На другой день речь Сталина была опубликована в газетах. Она вселяла в нас надежду на скорую победу. Нас охватил небывалый энтузиазм - мы работали, отдавая все свои силы.

Еще в октябре на заводе всем, кто умеет вязать, выдали шерсть, и вечерами я вязала носки и рукавицы с двумя пальцами для бойцов. И седьмого ноября, поздней ночью, я, наконец, закончила последнюю пару рукавиц. Хотелось скорей отправить подарки на фронт, ведь уже наступали морозы.

В жакте объявили сбор бутылок для фронта. Наполненные воспламеняющейся жидкостью бутылки бросали под танки. Мы собрали все бутылки, даже дореволюционные, с царскими коронами, и отнесли на сборный пункт.

У нас была квартира из двух комнат, но к ноябрю мы переселились в одну, чтобы подольше сохранить дрова. Вторая комната всегда была очень холодной. Голод все настойчивее проникал в мысли, чаще думалось о еде. Страшно было смотреть на папу, он уже с трудом передвигал ноги. Ходить на работу в депо сортировочное было далеко, но пока он мог держаться на ногах, он ходил. Иначе папа не мог. Я только раз в жизни видела, как папа болел. Как бы он себя плохо не чувствовал, он всегда шел на работу. Работал он двое суток, двое суток отдыхал и всегда говорил: "Ничего, отработаю, а потом за двое суток отлежусь". И вот это его установившееся правило чуть его же не подвело. Однажды, года за два до войны, он собирался на работу, но почувствовал себя плохо. Поднялась высокая температура, но он попросил маму помочь ему одеться и все-таки пошел на работу. Не прошел и одного квартала, как пришлось вернуться. Пришел и сказал: «Панечка, мне очень плохо, вызови врача». Врач немедленно отправил папу в больницу и сразу на операционный стол - оказался перитонит. Два с половиной часа длилась операция, не обещая никакой надежды на жизнь. Это был 1939 год. Хирург Подопригра потом говорил папе: "И как ты выжил, ведь никаких надежд не было!" Папа

полгода болел, а потом его перевели на легкую работу - на маневровые поезда.

Я перешла на вечернее отделение Железнодорожного института, хотя папе очень хотелось, чтобы я училась, как и все, на дневном отделении.

Таков был папа! И сейчас, когда мы все видели, как он с каждым днем все слабеет, он даже помыслить не мог остаться дома. Вскоре у него начали пухнуть ноги. Ходить ему в такую длинную дорогу (более пяти километров) стало, вероятно, уже не в состоянии, и однажды он пришел с работы с больничным листом. Так он слег и лишь дважды добирался к врачу в железнодорожную поликлинику, до которой было не менее трех километров. В конце декабря папа уже совсем ослаб, и в поликлинику я пошла с ним вместе. Идти было трудно, я его держала под руку, чувствуя, что он с трудом переставляет ноги, через несколько шагов он начинал задыхаться, останавливался. Да и мороз был около 30 градусов. С большим трудом мы дошли до поликлиники. Больничный ему продлили еще на неделю. Впереди у нас был более тяжелый обратный путь. Как мы дошли до Московской улицы, представить трудно! Дальше папа идти не мог, он просто уже не стоял на ногах. Я завела его в магазин, посадила на пол в уголочке и как могла быстрее пошла за саночками. Саночки были маленькие, я с трудом посадила на них папу и повезла домой. Добрались мы до дома благополучно, вместе с мамой привели его домой, а ноги у него были как ватные, совершенно его не слушались. Больше папа не вставал. 10 января 1942 года он умер. Когда я пришла с работы, и мама сказала мне, я не смогла этого сразу понять. Я подошла к кровати и стала трясти папу: "Папа! Папа! Папа!" Но это была правда! Это была первая блокадная смерть в нашем доме.

Папа был старым членом партии. Для него партийный билет, все, что было связано с партией, было свято. И смерть его была подвигом. Он страдал внутренне, а внешне это ни в чем не выражалось. Папа верил и нас убеждал, что все это временно, и мы должны, мы обязаны дожить до Победы! Но сам он не дожил. Мы с мамой зашили его в простыню и свезли на саночках в пристройку дома № 27 на улице Ткачей, куда свозили всех покойников из наших домов. Я еще ходила, мама уже с трудом держалась на ногах, слег и Юрий. Кладбище было

далеко, и одна я отвезти туда папу не могла, да и хлеба у меня не было, а без хлеба никто бы могилу не выкопал.

После папиной смерти мама совсем слегла. Я взяла папин партийный билет и пошла в депо сортировочное, где он работал, чтобы отдать билет секретарю партийной организации – Войтовичу.

Мороз был страшный. Я надела на себя все, что могла, ведь я была настолько худа, что накрутить на себя можно было много: две вязаные шапки, кофты, шарф, поверх пальто повязала крест-накрест платок, да еще затянулась ремнем, чтобы не поддувало, огромные рукавицы из овчины, которые папа носил на работу, и огромные папины валенки 42 размера, обшитые кожей, ужасно тяжелые. Взяла с собой алюминиевый котелок, который почему-то мы называли «берданкой», и отправилась в путь. А путь длинный - более пяти километров в один конец. Ясный морозный день, но солнышко не греет, а чистый, ярко-белый, блестящий снег до боли слепит глаза. Платок покрылся инеем, а мороз пронизывает насквозь, этот почти сорокаградусный мороз, для которого не существует никаких преград.

Минуя пустынные улицы, я вышла на железнодорожные пути. До войны здесь ходить пешеходам запрещалось, а сейчас рельсы покрыты снегом, и только узенькая тропинка протоптана к паровозному депо.

Ближе к депо расчищены две колеи, и вдали пытит, испуская клубы пара, "живой" паровоз. Он манит и зовет, как что-то действительно живое среди белоснежной пустыни. А перед ним на ослепительно искрящемся снегу что-то чернеет. Подхожу ближе и вот уже ясно различаю большие сани, в которые в мирное время впрягали лошадей, а сейчас на них сложены трупы железнодорожников. Темные, пропитанные углем лица обращены в безоблачное голубое небо, такое прозрачное и так непохожее на обычное ленинградское. Высунувшиеся из рукавов форменных шинелей такие же темные, чудовищно скрюченные морозом руки зывали о возмездии. Мой папа работал с ними; возможно, среди них были его друзья. На какой-то момент я почувствовала слабость, я шла уже около трех часов, голодная, замерзшая. Но пытящий впереди паровоз и кирпичные стены депо вывели меня из оцепенения.

Наконец, я открыла дверь, где работали изможденные женщины. Посредине комнаты угасала железная печка-временка. Войтовича я не

нашла, он болел. Женщина, сидевшая за столом, была удивлена, что я принесла папин партийный билет, и обещала передать секретарю. Папу все хорошо знали, он работал там с 1914 года и всегда оставался человеком отзывчивым, мягким, добрым. На дорогу меня напоили горячим кипятком, и я отправилась домой. По пути я зашла в столовую, мне на крупные талоны карточки налили суп из пшенички, в котором плавало несколько зернышек, и я очень боялась его расплескать. И вдруг я почувствовала какую-то вину перед папой: ведь отдала я партийный билет не Войтовичу, отдала женщине и даже не спросила, член ли она партии. Я ей поверила, но меня мучила какая-то неопределенность. И в то же время я почувствовала, как последняя жизненная ниточка, связывающая меня с папой, оборвалась навсегда.

Я шла домой, когда еще светило холодное красноватое солнце, блеснул белизной снег, а мороз еще больше усилился. У саней меня снова что-то заставило приостановиться. А потом шла дальше по железной дороге, где полгода тому назад было очень оживленно: шли товарные и пассажирские поезда, на специальных путях перегонялись маневровые поезда, то и дело раздавались паровозные гудки, стрелочники переводили стрелки, перебрасывая поезда с одной линии на другую. Ведь тогда только начали появляться автоматические стрелки. Ночью на подъездах к станции загорались то зеленые, то красные, то желтые огни. А сейчас – тишина, кругом снег, рельсы почти не видны. Все это сплетение линий превратилось в снежное поле. И лишь недалеко от моста, у Преображенского кладбища, маневрировал паровоз. Он показался мне каким-то ненастоящим, ярким - зеленым с красным. А его пронзительный гудок как будто бы кричал: "Неправда, мы живы!"

Я шла прямо по железнодорожному полотну. В те страшные блокадные месяцы поезда уступили дорогу людям. Но и людям это не нужно было, ведь на своем длинном пути я не встретила ни одной живой души. Потом я свернула на улицу (не помню ее названия), попала в кварталчик с деревянными одноэтажными домами, расположенными в виде квадрата. У домов были дощатые мостки, по которым было удобно идти. Этот, еще сохранившийся в то время уголок, производил впечатление сказочного, светлого, солнечного, хрустального городка. С крыш домов свисали длинные,

переливающиеся разными цветами сосульки. У нас на Мартыновской улице, на Ольгинской и других уже многие деревянные дома начали ломать на дрова, а здесь они сохранились, соперничая со сказкой.

Дальше прошла мимо заводов «Трубосталь» и «Гидровата», вышла на Железнодорожную улицу, затем на Экипажную (теперь улица Седова), мимо Механического техникума им. Васи Алексеева на Московскую улицу (ул. Крупской) и наискосок к дому № 30, между домами № 26 и №25. Так мы сокращали свой путь. Это был тот кратчайший путь, по которому мы шли с папой в последний раз в поликлинику. По этому пути я не раз ходила потом, когда оформляла за папу расчет. Но в тот первый свой поход, выйдя на Экипажную улицу, я почувствовала сильную слабость. Подхожу к техникуму - передо мной крыльцо, ступеньки, а ноги перестают слушаться. Но сесть - значит не встать, замерзнуть!... И ... опускаюсь на ступеньки. И новая мысль: меня ждут дома больные мама и Юрик, они верят, что встанут, а я... распустилась... села... нет, нет. Нельзя было уступать слабости, особенно в морозные дни, когда, присев, можно было остаться навсегда, лишиться жизни. И снова под ногами, опухшими от голода, улицы: Экипажная, Московская, Ткачей. Я дома! Как они переволновались, ожидая меня, и теперь стараются ободрить меня ласковым словом. В комнате ужасно холодно, горит коптилка, мы едва различаем друг друга. Только бы они не поняли, с каким трудом я вернулась сегодня к ним! Им было трудно, они не должны об этом знать. Им нужно верить в меня, а вместе с тем и в себя. Как хотелось жить, как хотелось, чтобы жили они!

Юрик слег как-то сразу. Еще с осени они проходили допризывную подготовку. Когда выпал снег, ходили на лыжах.

В середине января он пришел домой раньше обычного и рассказал, что сегодня он не смог быть на занятиях до конца, упал и не мог встать. Ему было очень стыдно, ведь все были доходяги. Ему помогли подняться, начальник цеха его отправил к врачу, и врач дал больничный. Они с мамой лежали совсем обессиленные, но умирать не собирались.

В двадцатых числах января я собралась на Крестовский остров к тете Леле, родной маминой сестре, провести ее семью и сообщить о папиной смерти. Мама очень боялась меня отпускать в такой далекий

путь - ведь и я была слаба, хотя еще ходила. К тому же мы не знали, где они. Может быть, эвакуировались? И живы ли?

А дорога такая длинная – 27 трамвайных остановок с улицы Ткачей до Константиновского проспекта, не доезжая, а по тем временам, не доходя одной остановки до ЦПКиО им. С.М.Кирова. Весь путь был пешим, никакого транспорта тогда не было. Можно понять, с какой тревогой провожали меня тогда мама и Юрик. Я их просила не волноваться: вернусь поздно вечером, идти далеко! Путь был действительно очень трудным. Мне нужно было пересечь блокадный город через центр с окраины до окраины.

Рано утром я сходила в булочную, принесла маме и Юре хлеб (булочные тогда открывались в шесть или семь часов утра) и тут же, выпив с ними чашку кипятка с кусочком хлеба, отправилась в дорогу. С утра падал снег, и день обещал быть пасмурным, поэтому не думалось, что будет сильный мороз.

Чтобы хоть немного сократить свой путь, я через бывшее Смоленское кладбище, через Смоленский рынок вышла на проспект Села Смоленского к заводу имени Ленина и дальше на Шлиссельбургский проспект.

За трамвайным кольцом на тротуаре образовался бугорок, и люди обходили его. Но вот мужчина, укутанный в платок, с палочкой, как-то неуклюже пытался подняться на бугорок, споткнулся, пытался подняться и снова упал. Женщина, проходя мимо, наклонилась, постояла и пошла дальше. Человек не двигался, вероятно, умер, не дойдя до работы. Когда я увидела все это на расстоянии, у меня было желание помочь, появилась какая-то внутренняя обязанность, а вместе с тем и осознание, что уже поздно, этому человеку уже помочь нельзя - это было видно по жестам женщины. Какую-то часть пути преследовала мысль: а, может быть, это ошибка? И горькое чувство человеческого бессилия, и страшные мысли приходят в голову. А путь весь еще впереди, надо идти, не споткнуться, не упасть, а то и мимо тебя так пройдут, а ты замерзнешь, еще не успев умереть. И другая мысль: тебя ждут дома, ждут двое немощных людей, самых родных, прибавляла силы и уверенность.

Несмотря на то, что падал снег, мороз крепчал. Платок и сверху вязанный капюшон давно уже покрылись инеем, стал замерзать нос. Его труднее всего было спрятать.

Вот прошла я мимо своего 10-го элементного завода. В январе мы не работали: не было сырья, и поэтому нам разрешали выходить на работу не каждый день. Прошла под эстакадой Финляндского моста, стало совсем светло. У амбаров свернула по Обводному каналу к кладбищу Александро-Невской лавры, прошла вдоль светлой церковной стены. С другой стороны серебрились на солнце пропеллеры на могилах летчиков. Через ворота вышла на Красную площадь. Здесь обычно ходили мы всей семьей в город в мирное довоенное время.

В блокадные годы этот путь был самым многотрудным. Через кладбище шли за Невскую заставу, в этот рабочий промышленный район. Другого, более короткого пути в Володарский район не было.

Далее мой путь шел по Старому Невскому проспекту до Московского вокзала, потом через весь Невский проспект. Хорошо запомнился безлюдный Невский, весь в сугробах, с мертвыми, засыпанными снегом троллейбусами, застывшими там, где их покинул электрический ток. Прошла заснеженный Аничков мост с пустыми постаментами. На них не было прекрасных клодтовских коней, которые не только украшали мост, но и придавали всему Невскому проспекту величавость.

Впереди виднелась тусклая адмиралтейская игла, а с левой стороны стоял весь закопченный, обгорелый, Гостиный двор. Больших разрушений на Невском проспекте не помню, но дома были сильно выщерблены осколками снарядов. Все время преследовало чувство, что ты находишься в вымершем городе. И это чувство поддерживалось чистым, режущим глаза снегом в виде сугробов вдоль всего Невского и скользящим, пробирающим до костей худое тело, морозом.

На Невском проспекте, напротив Гостиного двора, у проруби (у колодца) стояли укутанные люди с кастрюлями, чайниками, бидончиками. Они наклонялись над ледяным валом и, зачерпнув воду, осторожно поднимались, боясь пролить драгоценную влагу.

Я шла по правой стороне, где раньше были магазины с зеркальными витринами, которые сейчас были заложены мешками с песком и сверху

заколочены досками. Они тянулись вдоль всего Невского, придавая ему странный, негородской вид.

Вот и Дворцовая площадь (тогда площадь Урицкого). В центре ее возвышается в лесах Александровская колонна. Вся заснеженная, ярко-белая, сверкающая морозным зимним солнцем, никогда она еще не была такой настороженной ожиданием часто повторяющихся обстрелов. И хотелось скорей миновать это открытое пространство, где не было рядом укрытий от артобстрелов. Такое же желание вызывал и Дворцовый мост, поднимавшийся над глубоко промерзшей широкой Невой.

А дальше – Ростральные колонны, все в иное, со следами повреждений от осколков снарядов. И снова до моста Строителей открытая площадь: справа – Стрелка Васильевского острова, слева – Биржа труда. В тот день на моем пути не было обстрелов. Я шла без препятствий и без остановок, уставая, но зная что остановка - отдых - могла стоить жизни. Я знала, что после передышки очень трудно снова двинуться в путь. Это я хорошо прочувствовала и очень испугалась, когда неделю тому назад возвращалась из Сортировочной.

С моста свернула на улицу Добролюбова, дошла до Зверинской улицы, затем до Большого и Малого проспектов. Здесь, на углу улицы Зелениной и Малого проспекта, дымился всеми окнами многоэтажный старинный дом. Рядом стояли пожарные машины, но не было воды, тушить было нечем, пожарные спасали жителей.

А мимо проходили люди. Сознавая свою беспомощность, они ничем не могли помочь. Я вышла на Барочную улицу. Вот виден и Крестовский мост. Теперь уже скоро. Прошла мост, стадион "Динамо", а куда дальше? До войны я всего несколько раз была у тети Лели (жили они очень далеко от нас), а теперь задумалась: куда же идти? Спросить не у кого. А когда попалась навстречу женщина, оказалось, что я пошла не в ту сторону. Надо было свернуть налево. Пришлось вернуться. Вот, наконец, и дом № 20а на Константиновском проспекте, где жила тетя Леля. Внизу по-прежнему столовая. Подъезд со двора. У подъезда, опираясь на палочку, стоял маленький, как потом я узнала, шестилетний мальчик-старичок.

Поднялась на второй этаж, звоню в обычный в то время ручной звонок в квартиру № 11, и мне открывает дверь Маруся, моя

двоюродная сестра. Как я была рада, что все живы, все дома! Правда, они собирались при первой же возможности эвакуироваться. А пока они были все вместе: дядя Федя с тетей Лелей, их сын Евгений с женой Еленой и маленьким Олежкой, дочь Маруся (ее муж Николай воевал на Карельском фронте) и сын Виктор, только что окончивший десятилетку.

Дома у них было относительно тепло. Дымоход, проходящий из столовой, обогревал стенку в одной из комнат. Встретили они меня с большим сочувствием. Рассказала я о смерти папы, о самочувствии мамы и Юрика. Они меня посадили за стол, как и всем, положили в тарелочку темной мучной каши, дали кусочек хлеба. Налили стакан чая с кругленькой конфеткой «бим-бом», которые тогда давали по карточкам вместо сахара. Я, конечно, не наелась (тогда все время хотелось есть), но отогрелась, и даже эта мизерная порция помогла мне прийти в себя после такой длинной дороги. И я тут же стала собираться в обратный путь. Надо было добраться домой до 10 часов, на передвижение по Ленинграду после этого времени требовался пропуск.

Дядя Федя с тетей Лелей дали для мамы и Юрика по сухарику, и мне хотелось скорей порадовать их. Для мамы будет большая радость узнать, что у них все благополучно.

И вот обратный путь. Пока еще светло, нужно его как-то сократить. В то время я плохо знала свой город, поэтому определить маршрут по улицам мне было трудно. Я шла, придерживаясь определенного направления. Миновав Крестовский мост, я направилась к Петропавловской крепости. Там, недалеко от нее, оказался пеший переход через Неву. Перейдя ее по льду, я вышла к Летнему саду. Недалеко отсюда, на Моховой улице, жили три маминых сестры. Трудно было, но я решила зайти и к ним - ведь маме было очень важно знать о своих родных сестрах, хотя она, конечно, и предположить не могла, что я зайду и к ним. А я надеялась, что и там все будет благополучно, и это еще больше порадует маму.

По Фонтанке я вышла к памятнику Гангутской битвы. На месте памятника в то время была большая пробоина в стене дома, прикрытая огромным плакатом с изображением молодой женщины с убитым ребенком на руках и надписью "Отомсти!"

Когда вышла на Моховую, уже начинало смеркаться. Часов у меня не было, поэтому не было представления и о времени.

Тетю Веру, ее дочь Кену, тетю Шуру и тетю Маню я застала дома. Последние две тети были старше мамы, им было уже далеко за шестьдесят. Самой молодой была тетя Вера. Она работала в комендантском управлении. Дочь училась в Медицинском институте. Да и старенькие тетки работали на швейной трикотажной фабрике. Тетя Шура и тетя Маня были очень худые - первая лежала, вторая с трудом передвигала ноги.

У них я не задержалась. Узнав, что мои тетушки, хоть и слабые, но все живы, я заспешила домой. Тетя Вера налила мне чашку чаю, дала сухарик, кусочек сахара и еще два куса сахара и два черных сухарика для мамы и Юрика. А тетя Маня с тетей Шурой послали белую баранку. Она казалась неправдоподобной. Ведь с октября 1941 года мы не только баранок, но и белого хлеба не видели.

Белая баранка... А ведь сами-то тетушки были чуть живы. Да, они тоже (несколько позже мамы) умерли от голода...

Все это богатство уместилось в моей муфточке. Я была счастлива! А как обрадуется мама - все ее сестры живы и их семьи целы.

Мне рассказали, как короче пройти к Московскому вокзалу, а там я уже знала сама. И я отправилась домой. На улице было уже сумрачно, и нужно было спешить. И я спешила, как могла. Вышла на улицу Белинского, на Литейный проспект, свернула на Надеждинскую (ул. Маяковского). Здесь несколько домов были разрушены, лишь стояли отдельные стены, и в проемах окон тускло вечернее небо. Кругом были груды кирпича, но проход по улице был расчищен. Наконец, дошла до улицы Восстания, свернула к Московскому вокзалу. И снова я шла по утреннему пути, только в обратном направлении и в темноте. К счастью, небо было лунным, и идти было не страшно даже по кладбищу, где морозный снег скрипел под ногами, а справа уходили в ночь частые памятники, надгробные кресты. Страшно было опоздать – скоро свободное хождение прекратится. До чего же трудной была дорога, но оставалось не так уж много. И мысль о том, что меня давно ждут дома, волнуются, заставляла меня все больше спешить.

И вот я дома. Первая радость мамы и Юрика: я жива, я вернулась! И радость их была естественна. В таком далеком пути много

предоставлялось возможностей не вернуться домой. Так бывало нередко и с другими. Постоянные обстрелы то одного, то другого района не щадили никого, кто попадался на пути. Не попадешь под снаряд, можешь угодить под бомбу: самолеты часто прорывались бомбить Ленинград.

А сильное истощение, слабость, опухшие ноги и дистрофичное сердце, работавшее с перебоями, - все это тоже не для дальней дороги. И от 25-30-градусного мороза трудно спрятаться.

Поэтому вполне объяснима тревога родных людей, тем более понятная, что они лежали, а мысли их всецело были прикованы ко мне. Они все были в тревожном ожидании, которое длилось не менее 12 часов. А ведь часы ожидания тянутся гораздо дольше, чем время за работой. Можно ли представить, насколько для них это было трудно и мучительно? Тревожное ожидание вместе с постоянным ощущением голода - это невыносимо! Тем ярче озарило их радостью мое появление. И они, сами голодные, протягивают мне по кусочку хлеба.

Какие нечеловеческие усилия нужны были, чтобы целый день лежать с постоянными мыслями о еде, быть невероятно голодными, знать, что у тебя еще есть кусочек хлеба и не съесть, а когда я пришла, с радостью отдать его мне.

Мне хотелось их скорей напоить чаем, вернее, кипятком (чаю уже давно не было), обогреть. Я затопила печку, поставила в нее чайник (воду принесла еще утром), рассказала, как меня приняли родные, что все они живы, хоть и трудно им приходится.

В тот вечер у нас был праздник! Мама узнала, что все ее родные живы, я тоже вернулась, жива, и мы сидим и пьем кипяток с сухарями и сахаром, да еще баранкой, вкус которой мы уже забыли. В январе, кроме хлеба, ничего не было, а пайку хлеба мы не могли дотянуть до вечера. А тут целых четыре сухаря, два кусочка сахара и баранка, да еще два кусочка хлеба, которые мама с Юриком сохранили для меня, – целое богатство. В тот вечер мы вспоминали папу, жалели, что он не может порадоваться с нами, говорили о прорыве блокады, мечтали об окончании войны, о днях, когда мы сможем досыта есть хлеб. Нам больше всего хотелось хлеба! Но для них все это так и осталось в мечтах.

Конец января был самым страшным: не было электричества - жгли копилку; было холодно - не было дров. За водой ходили к дому № 18, где был отрыт колодец. Доставать ее было трудно, кругом все обледело, люди были слабые и постоянно расплескивали воду, а иногда и полностью проливали, не удержавшись на ногах. И какие страшные были морозы - более тридцати градусов. В городе не было продуктов, карточки не отоваривались. Говорили, что за Ладогой образовались целые склады продуктов, но нам их не успевали доставлять. Кончилось топливо - кончилась электроэнергия, остановились хлебозаводы - в магазинах не стало хлеба.

На выручку пришли тогда комсомольцы. Это они, измученные блокадой, встав шеренгой, подавали из Невы воду в ведрах на хлебозавод. И все-таки 27, 28 и 29 января мы стояли с утра до позднего вечера на лютom морозе у булочных и ждали хлеба. В эти дни мы не работали. Да уже давно на заводе начались простои, а потом и совсем не стало сырья, и занимались мы уборкой цехов, разборкой старых завалов, отсиживались в цехах.

В первый день (27 января) я пыталась выкупить хлеб в магазине на Московской улице, к которому были прикреплены карточки, но очень поздно вернулась домой ни с чем. Возвращаясь уже около двенадцати ночи, у механической прачечной я снова проходила мимо выброшенной мертвой женщины-скелета. И не было страшно. А когда утром я опять прошла мимо, у нее с костей ног было срезано мясо, а, вернее, кожа, какое там мясо!

29 и 30 января я ходила в булочную на кольцо Ломоносовского завода, там давали хлеб без прикрепления карточек. Эта булочная была ближе к хлебозаводу. Мороз страшный, спрятаться некуда, да и уйти из очереди нельзя, а вдруг не признают? Вчера мама и Юрий ничего не ели, и я тоже. Только поздно вечером получила хлеб сразу за два дня - вчерашний и сегодняшний. Уже ночь, но морозная луна и звезды освещают дорогу, никого нет, и все равно страшно. Идти еще далеко, а вдруг какой-нибудь обезумевший дистрофик вздумает выползти в это время на улицу и отнимет хлеб. И этот страх придавал силы; я, как могла, бежала домой. Я тогда не представляла, как мама и Юрий переживали, волновались за меня. Я ходила, я работала, а они лежали,

им было труднее, у них мысли были свободными, и что только не приходило им в голову!

А они почему-то думали, что мне труднее. Я до сих пор не могу понять, как Юрик мог оставлять мне кусочек хлеба, ведь ему так хотелось есть!

Когда я выкупала хлеб, я делила его пополам и одну половину отдавала Юрику - у него была рабочая карточка. Вторую половину делила еще пополам - нам с мамой поровну. А когда я приходила домой с работы, они вытаскивали из-под подушки по кусочку хлеба и просили меня съесть. Я отказывалась. Они так боялись, что я тоже свалюсь.

2 февраля я встретила Таню Русову, она мне сказала, что умер Володя Богданов, Юрин приятель. И зачем я тогда об этом сказала Юре? Он, сам очень слабый, едва мог шевелиться, сказал: "Нам бы только до 10 февраля дожить, а там уже жить будем!" Бедный мальчик, он еще не почувствовал, что завтра и его не станет.

Рано утром 3 февраля, когда я перед тем, как уйти на работу, подошла к нему, он очень тихо сказал мне: "Я сегодня умру". Я наклонилась над ним, и слезинка капнула ему на лицо. "Не надо плакать, - сказал он, - я ведь очень хотел жить!" И я спросила его: "Что бы ты хотел, Юрик?" - "Кусочек сахара и лимонаду." А взгляд был у него уже какой-то мутный. - "Юрик, я сейчас пойду на работу и попрошу у Надежды Георгиевны кусочек сахара". Надежда Георгиевна, начальник отдела кадров, пожилая женщина, приносила на работу по маленькому кусочку сахара и пила с ним чай. Это была первая и последняя моя просьба в такое голодное время - я просила одолжить мне кусочек сахара! Надежда Георгиевна была очень хорошим, добрым человеком, она отдала мне свой кусочек сахара и отпустила домой. Но Юрика в живых я уже не застала...

Как и три недели тому назад, когда умер папа, я зашила Юрика в простыню и с помощью соседки Шуры отвезла его в то же помещение, что и папу. Мама встать не смогла.

Юрик, Юрик, ведь он был совсем еще мальчик, скромный, стеснительный. Да и друзья-то у него были все младше его, он их никогда не обижал, и они любили его.

Здоровье у него никогда не было крепким. Он был всегда очень худеньким, высоким, стройным, красивым, был похож на маму. Ко мне

он относился с какой-то особой любовью. Перед самой войной, когда он отдыхал на Кировских островах, он ежедневно приезжал к моему заводу и встречал после работы. Мы шли пешком до нашей улицы Ткачей, и потом он ехал обратно на Кировские острова. А это ведь не так и близко! Это тогда он пообещал мне показать Тамару, которая ему нравилась, но так и не успел.

Мой дорогой братик, сколько таких, как он, еще не познавших любви, не успевших уйти на фронт, полегли тогда в холодную ленинградскую землю. Дорогие мои мальчики! Вы до последнего дня, до последнего своего часа мечтали о жизни, а когда вдруг осознавали, что приходит конец, в ваших глазах не было страха, вы завещали жизнь своим родным.

Остались мы с мамой вдвоем. В феврале слегла тетя Паня, Васина мама. Я вместе со своими карточками выкупала и ей хлеб. Февраль на исходе, а она не может встать, чтобы сходить на работу за карточками. А работала она тогда в госпитале на Минеральной улице (на Выборгской стороне). Что же делать? Взяла я у нее доверенность и отправилась в госпиталь за карточками. Она мне объяснила, как пройти кратчайшим путем, которым она ходила ежедневно на работу, пока не свалилась.

Вышла я рано утром и пошла вдоль набережной Невы. Напротив Смольного спустилась на лед и пошла прямо по Неве, по тропке до Минеральной улицы.

Госпиталь я нашла, но карточек мне не дали, сказали, что по доверенности они не имеют права выдать карточки. Обратный путь показался очень трудным. Я шла и думала: как же быть, как сказать тете Пανε? Когда она узнала такое, конечно, очень расстроилась. Я пообещала ее завтра довести до госпиталя на саночках, если она заставит себя встать. Ведь это был последний день февраля! Но от саночек она отказалась. Мы вышли рано утром. По пути я снова отпросилась с работы (в это время наш завод почти не работал - не было сырья), и мы отправились дальше. Тетя Паня с трудом передвигала ноги, постоянно опираясь на меня и на палку. Тот же вчерашний путь. Карточки тете Пανε выдали, пожалели, что так получилось вчера. Помню, как мы проходили мимо Смольного, на который была накинута сетка с большими ячейками. Многие из них

сверху были залеплены зелеными лоскутами ткани. Мы проходили и с надеждой смотрели на Смольный, где, как и 24 года тому назад, решалась судьба Ленинграда. Можно представить, как маме было тревожно оставаться одной и думать, думать обо мне, когда я уходила в такие дальние дороги.

А я была молодая и хотя дистрофичная, но не могла думать, что со мной что-то может случиться. А если и могло что-то случиться, то оно могло случиться везде.

Ведь снаряды, как шальные, рвались повсюду, да и бомбы без разбора летели и в цеха заводов, и в жилые дома, и в госпитали, и прямо в Неву. Я уже писала, как осенью 1941 года во время воздушной тревоги я наблюдала, как немец пытался бомбить Финляндский мост. Все бомбы падали рядом в Неву, а мост стоял целый.

Наши мосты - это нелегкая цель. Они усиленно охранялись и нашими «ястребками», и зенитными батареями. За время блокады немцам не удалось ни разрушить ни повредить ни один из мостов. Залетали на мосты и снаряды, но они не причиняли больших повреждений. Ленинградские мосты всегда оставались на своем посту.

В начале марта объявили прием студентов в Механический техникум для подготовки машинистов на поезда.

Еще не разомкнули кольцо блокады, еще стоял на приколе весь железнодорожный транспорт, а уже думали о замене погибших железнодорожников новыми, молодыми кадрами. На нашем заводе все еще не было работы, и меня без разговоров отпустили в техникум.

До войны я училась в Железнодорожном институте, а теперь, когда нужны машинисты, да и вообще работники железнодорожного транспорта, когда так много их погибло, я решила заменить папу. Приняли нас на второй курс. И было нас вместе с преподавателем четыре человека. Занятия вел по всем предметам старенький преподаватель (не помню его имени и отчества), очень истощенный человек. Студенты - Ростя (мы с ним учились еще в школе), одна девушка и я.

В большой аудитории стояла огромная печка-буржуйка, сложенная из кирпича и обшитая железом. Мы сидели вокруг этой печки и слушали нашего преподавателя. Даже у печки мы сидели одетые, в рукавицах, так как топить было почти нечем. Ростя приносил несколько

горошин, клал их на печку, когда она топилась, и слегка поджаренным горохом угощал нас. Каждому из нас доставалось по 5-10 горошин. И мы их долго жевали, утоляя голод.

Были у нас с собой тетради, но писали мы редко - замерзали руки. Приходилось все запоминать. Мне было легко, так как я проходила все это в институте.

Время подходило к весне. Днем под теплыми лучами солнца начинал таять снег. После такой страшной зимы город был ужасно грязный, боялись эпидемий. По распоряжению Ленгорисполкома все население вышло на уборку города. Мы убирали территорию вокруг техникума, скалывали обледененный снег и вывозили его на фанерных листах на улицу, а там грузили на грузовые машины, так называемые, полуперки. Тут были и первокурсники, и пожилые люди - учителя и работники техникума. Труд был тяжелый, но тогда об этом не думали - старались изо всех сил. Лед был грязный, ржаво-желтый. Начиная с декабря, когда не стало воды, когда перестала работать канализация, когда все это окончательно замерзло, истощенные люди выбрасывали все нечистоты тут же у домов. Мы пачкали, нам и убирать. За три дня двор техникума стал таким чистым, что, наверное, и до войны таким не был.

Мы были молоды, и сидеть у печки и слушать лекции казалось бездействием. Фронт рядом, наши ребята гибнут, отстаивая свой город, или дерутся где-то на других фронтах, а мы сидим. И я решила перейти на завод Ленина, где работал мой брат Юрик, когда-то работала моя сестра Люся и подружка Люся Самбунова, которую мы похоронили 6 октября прошлого года. Отсюда уходил во флот Вася Евстафьев. 17 апреля 1942 года, оставив учебу на мирное время, я поступила на завод им. Ленина. Взяли меня на работу в транспортный цех разнорабочей. Опять я попала к паровозам, кранам. Первое время вместе со всеми я носила ведрами воду для паровозов, убирала цех. А цех был необычный, напоминал узловую станцию. Между платформами стояли паровозы. Они ходили по территории завода, которая раскинулась от берега Невы до Октябрьской железной дороги.

Начальник цеха Подлесный как-то спросил меня: "Девочка, ты откуда пришла, училась, что ли?" Оказалось, что я чем-то отличалась от других рабочих. Вскоре он перевел меня в стропали. И стала я

ездить по территории завода с крановщиком, переводила стрелки, перевозили мы разный груз: трубы, металлические бункера со стружкой, пиломатериалы и другое. Конечно, застропить тот или иной груз мне помогал крановщик, а, вернее, я ему помогала.

Однажды меня увидел на кране главный инженер завода и сказал: "Девочка, девочка, тебе бы в лапту играть, а не здесь работать!" И мне стало очень обидно, ведь мне уже исполнилось двадцать лет.

В нашем цехе стажером на паровозе работала Татьяна. В это время от каждого цеха направляли людей на оборонные работы. Попала и она в эту бригаду. Но ей очень не хотелось туда идти, у нее болела нога, и я согласилась ее заменить. Она обещала меня сменить, когда поправится нога. Ну, да мне этого и не нужно было. Я с большой охотой работала на оборонных. Работы было много, я чувствовала себя здесь нужной.

Совсем недавно у нас появились соседи - Мария Матвеевна с двенадцатилетней дочерью Ниной. Их дом пошел на слом, и Шура, ее сестра, попросила маму прописать их к нам. Нас оставалось двое, и мы решили в одну комнату пустить их, ведь людям негде жить, а сестре хотелось, чтобы они были рядом.

В это же время к нам попросилась пожить тетя Лиза Паукку из квартиры № 2. Ребята ее, Саша и Коля, были на фронте, муж только что умер, и она боялась оставаться одна в пустой двухкомнатной квартире. Нам в 14-метровой комнате вдвоем было не тесно. Мебели у нас почти не оставалось - мы ее сожгли зимой, да и особенно не жалели, она вся была поедена жучком.

Когда тетя Лиза почувствовала, что мама стала совсем плоха, она ушла к себе. Она все еще боялась покойников. В последний вечер мама уже ничего не говорила. Наши кровати были напротив, и я лежала, прислушиваясь к ее дыханию. Потом вдруг она через большие промежутки времени несколько раз повторила три слова: "Танечка, прости меня". Мне казалось, что говорит она это в забытье. Была ночь, темно, а я, как прикованная к кровати, лежала и молчала. Я боялась напугать маму. И в последние часы и даже минуты я не подошла к ней. Бедная, бедная мама! Я и сейчас, много лет спустя, слышу ее слова. Мне казалось тогда, что это я должна у мамы просить прощения, что не смогла ее сохранить. Но я старалась сделать все, что могла, чтобы сохранить ей жизнь, а она была так слаба, что не выжила. Мама умерла

в ночь на 24 апреля. Она всегда была худенькой, а при постоянном недоедании превратилась в скелет.

Всю свою жизнь мама трудилась, мы ее видели постоянно за домашней работой. Только дважды я помню ее неработающей: в 1924 году она была в родильном доме - родился Юрик, и в 1937 или 1938 году, когда она болела около месяца. У нее было рожистое воспаление на лице, долго держалась высокая температура, и она лежала. Тогда мама, как и сейчас, очень волновалась, что ничего не может делать. Но когда ей становилось чуть-чуть получше, она садилась на постели и перелицовывала мне костюм. И, казалось, жизнь вселялась в нее снова. Когда же она ничего не могла взять в руки, она чувствовала себя какой-то виноватой.

Мама! Мамочка! Как трудно было ее заставить съесть даже, положенную ей по иждивенческой карточке норму хлеба. Ей все время хотелось оставить хоть кусочек мне. Она говорила: "Ведь ты работаешь, тебе надо жить, а я ничего, я старенькая". И как я не пыталась делить наш общий паек пополам, она на это ни за что не соглашалась, говорила, ей своего хватает.

На другой день я сама помыла ее, зашила в полотняную тряпку, и с новой соседкой мы отнесли ее на больничных носилках в морг больницы имени Цимбалы. Мама была очень легкой, и нести ее было совсем не тяжело, хотя и не близко. Мы пронесли ее мимо нашего старого дома на Железнодорожной улице. Похоронена мама в братской могиле на Невском мемориальном кладбище «Журавли»* (правый берег Невы, Веселый поселок).

Мама умерла как истинная ленинградка, не склонившая головы перед фашизмом. Так умирали ленинградцы, не дожившие до светлых дней Победы, чьи имена заполнили похоронные книги на Пискаревском и Серафимовском мемориальных кладбищах, на Преображенском, Волковском и Киновеевском – в Невском районе, на Богословском – в Выборгском районе, на Красненьком – в Кировском, и нет такого кладбища в Ленинграде, где бы не были захоронены жертвы блокады.

* Примечание редактора

Прошла лишь одна зима 1941-1942 года, а сколько погибло наших родных, друзей, знакомых! Умерли самые близкие мне люди - мама, папа и брат Юрик, мамины сестры тетя Маня и тетя Шура, папина сестра Клавдия и ее муж, умерла Манечка, мамина подруга, которая была в нашем доме как родная.

Да и в доме нашем смерть почистила почти все квартиры. Жили мы в трехэтажном двенадцатиквартирном доме № 19 на улице Ткачей (позже, после перенумерации, он стал № 68).

В квартире № 1, где жили Русовы, умерла семнадцатилетняя Катюшка и ее мать. Остались сестры Танюшка и Настя, брат Георгий воевал в Севастополе.

В квартире № 2, в интеллигентной семье Паукку умерли бабушка, отец и мать - тетя Лиза; 23 февраля 1945 года погиб Саша, мой одноклассник, хороший парень. Он сгорел в танке в Ростове. Мне написали об этом его друзья. С Сашей мы переписывались с того письма, в котором он спрашивал меня о судьбе своей семьи. И так трагично оборвалась эта переписка. В их семье остался его брат Николай. Он вернулся с фронта невредимым.

В квартире № 3 у Обуховых умер отец - дядя Ваня, а после войны, в пятидесятые годы, его дочери Тоня и Лиля от туберкулеза легких, которым они заболели еще во время войны. Осталась их мать - тетя Лиза. У Смирновых умер отец. Остались мать и Лида.

В квартире № 4 также от туберкулеза легких после войны умерла моя подруга Лиля Николаева. Семья Николаевых в начале войны эвакуировалась, и сразу по их возвращении Лили не стало.

В квартире № 5 в начале войны добровольцем ушел на фронт Леня Орлов (родился в 1923 г.). Помню, после первого боя за город Пушкин прибежал он с винтовкой домой и рассказал, как они, мальчишки, имели одну винтовку на двоих, и когда было страшно, как кричали «мама!» Многие ребята погибли, а кто остался в живых, попали в окружение, и не всем удалось выбраться. Вот и он пришел домой из окружения. Потом он снова ушел на фронт и вскоре умер от ранений. В первую блокадную зиму умерли его отец и мать. Остались брат Петр и сестра Зина.

В квартире № 6 в семье Михалевых погиб Виктор, умерли от голода его старший брат, сестра и мать. Жена старшего брата с двумя

дочерьми была выселена из Ленинграда в 24 часа (она была немецкого происхождения).

В квартире № 7 у Шуры умерли мать и муж. Еще в самом начале войны из этой квартиры переехала в дом № 26 семья: бабушка, мама и две взрослые (17-18 лет) дочери Валя и Лида. В одну из первых ночных бомбежек бомба попала в их дом - разбило угол второго и первого этажа, где была их квартира. Во время сна были убиты Валя и бабушка, Лиду, старшую сестру, ранило. Мать в то время работала в ночную смену на фабрике "Рабочий".

В квартире № 8 осталась одна я. Умерли папа, брат и мама.

В квартиру № 9 во время войны приехали новые жильцы. Это единственная квартира, в которой все остались живы. У дочери тети Сони муж работал в госпитале.

В квартире № 10 у Масютиных погиб в партизанском отряде Павел. Не вернулся с фронта его брат Жорж. В 1942 году он написал мне письмо, спрашивал, как мы пережили это страшное время, все ли живы. Я ему написала, но он так и не успел мне ответить - погиб! В квартире остались жена Павла с сыном и брат и сестра Быковы - Маруся и Василий.

В квартире № 11 в семье Спиридоновых погиб на фронте Костя, наш сверстник, попала под машину Шура, жена Костиного брата, который тоже погиб, погиб муж сестры. После первой блокадной весны Костя написал мне из госпиталя, просил сообщить, почему ему не отвечают на письма его родные. Я написала, что они эвакуировались.

В квартире № 12 в конце войны от порока сердца умерла Леля Кусаева, а вскоре и ее мать - тетя Таня.

И так, наверное, в каждом доме: редкая квартира не видела смертей. Смерть в самые трудные блокадные месяцы 1941-1942 года стала обычной, будничной. Вот и у тети Пани в квартире вымерла вся семья: - мать, сынишка и его старшая сестренка 12 лет. Отец был на фронте, но ничего не писал семье. Как и все любящие матери, она все отдавала детям, стараясь поддержать их, и умерла первой.

Тетя Паня лежала и не могла подняться от истощения. Я выкупала ей хлеб и продукты. Однажды, уже после смерти мамы, я принесла ей плитку столярного клея, оставшегося еще с мирных времен, и она сварила студень. У нее нашелся лавровый лист. Почему мы его не

сварили с мамой? Просто не знали, что и клей можно есть. Вот и мамы не стало. Я осталась одна.

После смерти мамы, а еще раньше, после смерти Юрика, я снова ходила на Крестовский к тете Леле. Во дворе опять, опираясь на палочку, грелся на солнышке мальчик-старичок. В последний раз, когда я была у них, тетя Леля с дядей Федей уже собирались эвакуироваться в Ярославскую область. Оставались еще Маруся, Е.И. и Евгений.

Летом 1942 и в последующие 1943 и 1944 годы мы работали по 12 часов и без выходных. В эти годы не давали отпуска - нам платили за отпуск компенсацию. Не оставалось времени навещать родных. Но в тот раз, когда я навестила тетю Лелю, уже ходили трамваи. К нам, в Володарский район, они начали ходить с 24 апреля. По Невскому я шла пешком. На углу Невского и Литейного на лотке (как тогда называли торговлю на улице) продавали книги, и я купила сборник стихов Александра Прокофьева "Времена года" издания 1941 года и первый том собрания сочинений М.Ю.Лермонтова издания 1941 года. Позже стали работать и книжные магазины. В них продавались как довоенные издания, так и ленинградские издания блокадных лет. Там я купила второй том М.Ю.Лермонтова издания 1942 года. До сих пор у меня хранятся небольшие книжечки на плохой, почти оберточной бумаге. Но они особенно дороги как свидетели тех незабываемых дней. Это они помогали нам жить, бороться, приближать победу.

Дома меня уже никто не ждет. Теперь я с чистой совестью могу идти на фронт. Раньше, когда все были больны, а я на ногах, я не могла оставить их без помощи. А теперь...

Я пошла в военкомат. Или я очень дохлая была, в чем душа держалась, или и в самом деле в Ленинграде не хватало рабочих рук, но в военкомате мне сказали: "Когда надо будет, вызовем, а сейчас иди и работай, разве Ленинград - не фронт!?" Но адрес мой записали. А я продолжала работать на оборонных сооружениях и ждала, ждала, когда меня вызовут в военкомат.

Решила помочь раненым бойцам своей кровью, пошла в Институт переливания крови, но и там мне отказали, у меня оказалась «неудобная» кровь четвертой группы. На всякий случай заполнили карточку, но потом больше обо мне не вспомнили.

Весной 1942 года, когда оттаявшие от зимних морозов немцы снова зашевелились вокруг Ленинграда, ленинградцы уже строили на своих улицах баррикады, встраивали в окна домов амбразуры, ставили надолбы у ворот города. Ленинградцы снова готовились к уличным боям. Выполнение этих работ называлось трудовой повинностью. Сейчас это звучит парадоксально, а тогда мы и книжки получили, которые так и назывались – "Книжка трудовой повинности". В книжке записывались объекты, на которых мы работали, и время работы на них. Это сейчас думаешь: а почему же "повинность"? Тогда же это принимали как должное.

Мы работали дружно, изо всех сил старались сделать все, что нам поручали, быстрее, крепче, добротнее, чтобы немцы, если уж и попытаются войти в город (о чем мы, откровенно говоря, и думать не хотели), то построенные нами баррикады, вмурованные в окна амбразур преградят им навсегда путь в наш родной Ленинград.

В нашей бригаде было 26 человек - 26 женщин. Меня как комсомолку поставили бригадиром. Люди были собраны из разных цехов нашего завода. Такие бригады создавались на всех предприятиях Ленинграда.

Какие это были разные люди! Среди них и молодые девушки-комсомолки, и матери, у которых дома были дети, и пожилые женщины, которым труднее других было носить тяжелые кирпичи, раствор, работать с ломом и лопатой. Но всех нас сближало одно: все мы пережили первую, самую трудную блокадную зиму, почти все прошли сквозь горе потерь родных и близких людей, все были патриотами своего города - ленинградками.

Первым нашим оборонным объектом был вагоноремонтный завод. В раннем детстве он казался мне каким-то загадочным, сказочным. Мы жили тогда на Железнодорожной улице в деревянном доме, из окон которого был виден нескончаемый серый забор, окружавший территорию завода. Дом от забора отделяла улица Цимбалкина и просторные огороды. Из того далекого детства запомнился сумеречный январский снежный день, протяжные гудки заводов и фабрик и встречающие тут же отрывочно-беспрестанные гудки паровозов. Казалось, они гудят там, за забором, гудят очень долго! А с наступлением тишины целой вереницей пошли рабочие. Так

закончился рабочий день, когда страна прощалась со своим вождем В.И.Лениным. Все это запомнилось мне, трехлетней девочке, причем долгое время этой девочке казалось, что она видела в окно похороны Ленина, что эта длинная вереница людей шла за его гробом.

Однажды, проходя с мамой по улице, я спросила ее: "А что там за забором?" И мама ответила: "Поднимемся на Горбатый мост и посмотрим".

И уже при подъеме на мост мы увидели, что к самой железной дороге подходят ряды вагонов. Мама объяснила, что на заводе их ремонтируют, а потом выпускают на железную дорогу, что для этого есть специальные рельсы, по которым перегоняют вагончики. И все-таки был виден только небольшой уголок, а вся остальная территория была настолько обширна и необозрима, что по-прежнему казалась загадочной.

А потом кончилось детство, вместе с ним ушло и непреодолимое желание заглянуть за серый забор.

Тайны заводской территории много лет спустя раскрыла война. Но это был уже не тот мирный завод, который вызывал желание у маленькой девочки заглянуть в узенькую щелочку между серыми досками.

Весной 1942 года, когда нас сюда направили, завод не работал. К 7.30 утра у его проходной собирались бригады оборонников. Так называли тогда людей, работавших на оборонных работах. Встречал нас прораб, пожилой, сильно прихрамывающий на левую ногу мужчина. Он проводил нас по всей территории завода, выбирая путь покороче, чтобы к 8 часам подойти к нашим вагонам и выдать нам задание на день. Помогала ему молодая женщина - инженер-строитель.

Наше рабочее место находилось в самой дальней стороне заводской территории, именно в той ее части, которая была видна с Горбатого моста и прилежала к железной дороге. Но вагоны, стоявшие в мирное время вдоль забора, сейчас были развернуты на 180 градусов и стояли параллельно железнодорожной линии, чтобы преградить путь врагу. Они стояли цепочкой вплотную друг к другу, а мы засыпали камнями и песком пространство между колесами. Каждой бригаде был выделен свой вагон, и каждая бригада стремилась выполнить свое задание первой.

Работали мы с 8 часов утра до 8 вечера, без выходных, работали дружно, только одна тетка Зина вредничала, старалась увильнуть от работы. Через каждые 50 минут делали десятиминутный перекур. В столовую ходили организованно, обедали здесь же, на заводе. Мы подчинялись военной дисциплине - ходили строем, рапортовали прорабу о наличии людей в бригаде, о проделанной работе. Ни один человек не мог покинуть рабочее место, пока прораб не примет работу. А проверял он очень тщательно, простукивая палкой каждый метр, чтобы не пропустить воздушной полости.

К рабочему месту и обратно мы ходили по одной и той же дорожке, которую указал нам прораб, вернее, ежедневно водил сам нас строем по ней. И запомнилась она на всю жизнь, эта блокадная заводская дорожка.

Весна... Еще кое-где с теневой стороны цеховых стен задержался снег. Кругом тишина. Давно забыт заводской шум мирного времени. Цеха пусты и так промерзли за зиму, что когда мы проходили через один из них, нас до костей пронизывал холодающий озноб с какой-то неопишуемой проникающей сыростью. Неуютно, с пронзительным звоном падали сверху крупные капли. Попадая на голову и плечи, заставляли нас зябко вздрагивать. А цех был светлый, длинный и совсем новый. Платформы вдоль стен из белых досок еще не успели потемнеть от пыли и грязи. Вероятно, был построен перед самой войной. И все-таки он напоминал времена разрухи после Гражданской войны, о которых мы знали из книг. Человеку всегда хочется что-то с чем-то сравнивать.

Около месяца мы ежедневно проходили через этот цех, но ощущение не только не менялось, а, наоборот, еще более утверждалось. И даже много лет спустя воспоминание о нем вызывает озноб.

Территория завода была захламлена, на пути находился и разбитый цех, и цех, строительство которого было начато в мирное время. Его стены были наполовину сложены и уже начали обваливаться, внутри пробивалась трава, а разбросанные вокруг кирпичи создавали впечатление развалин. Какая-то незаводская тишина, нарушаемая лишь в моменты обстрела Володарского района, разрывами снарядов, да далекая фронтовая канонада действовали на нас угнетающе. Даже яркое весеннее солнышко и ожившая зелень деревьев и разросшегося

бурьяна воспринимались не так, как год назад, в то, казалось, уже далекое мирное время.

В один из июньских дней прораб нам объявил, что работаем до обеда, а потом все организованно идем в баню-санпропускник. Сейчас даже трудно себе представить, как можно было не мыться в бане полгода (не имея дома ванны). В последний раз я была в бане в октябре 1941 года. А потом баня не работала, и был большой перерыв, очень большой. И мылись мы во время этого перерыва в тазике у печки, по частям. А в декабре 1941, январе и феврале 1942 года мыли только руки и лицо. И вот теперь, в июне 1942, нас строем повели в Корниловские бани, которые работали как санпропускник. По такому торжественному случаю нас даже отпустили с работы. Это была особая баня. Нас запускали в раздевалку партиями. Мы собирали свое грязное бельишко в одну из одежек, связывали в узелок и отдавали банщицам. Нам выдавали маленький кусочек хозяйственного мыла, и мы заходили в жаркую мыльную, где на мытье нам было отведено всего 20 минут. За это время мы должны были отмыть многомесячную блокадную грязь и выйти в раздевалку, где нам взамен ранее выданного номерка возвращали наш теплый, пропаренный узелок, от которого исходил неприятный дух грязного белья. Наша бригада заходила в моечную последней, а за нами шли молодые ребята - солдаты, только что призванные в армию.

Сейчас, когда прошло много лет, все это: и первая баня, и узелки с бельем, и уродливые, с огромными животами, на тонких кривых ногах, с обвислыми грудями-тряпочками женские фигуры, и даже сидящие рядом с нами молодые солдаты во всем том, в чем родила мать, вспоминается с горьким юмором. А тогда мы были рады и такой бане. Ведь она была первая в 1942 году.

Народ уже немного оправился, ожил, но женские фигуры были еще карикатурными. Именно в этот период мы перешли на подножный корм и очень много употребляли в пищу лебеды. Этой пищей мы набивали свои желудки до отказа, и это тоже портило наши фигуры.

Только мы устроились с Валеи на скамеечке, как к нам подошли и попросили разрешения сесть рядом мальчики. Их запустили следом за нами. Ну и что же? Не уходить же из бани. Семимесячная грязь не так-

то легко смывается. Да и мальчикам хотелось помыться. Каждый старался смыть блокадную грязь.

А когда мы закончили эту приятную процедуру, мы искренне перебрались словами: "С легким паром, девочки" - "С легким паром, мальчики".

И это был действительно легкий пар. При всем несовершенстве, неудобствах, необычности клиентов эта баня запомнилась навсегда светлым пятнышком блокадного Ленинграда. Как много раз потом я мылась в этих Корниловских банях уже в мирное время, когда они снова стали первоклассными, но баня-санпропускник остается в памяти во всей своей необычности тех блокадных дней. А мальчики, которые тогда собирались на фронт! Вернулись ли они с победой или сложили свои головы на дорогах войны, чтобы нам жилось хорошо? А может быть, кто-то из них и вспоминает ту блокадную баню возрождающегося Ленинграда...

Вскоре мы закончили работы по завалам вагонов, но здесь же, на заводе, ближе к проходной, нам дали другую работу - строительство амбразуры для дальнобойного орудия. В огромном оконном проеме мы установили деревянную, тоже огромную амбразуру и заложили ее кирпичом по всем правилам. И завалы вагонов, и огромная амбразура в окне цеха - это еще один рубеж, край обороны, приближенный к нашему жилью.

Когда мы работали на вагоноремонтном заводе, я часто ходила к Нине Ивановой. Она жила в Щемиловке, в деревянном двухэтажном доме на втором этаже. Зимой у нее умерли родители, и она осталась одна. Все свои карточки мы проедали в столовой, но ведь и дома хотелось есть. Недалеко от ее дома были пустыри и овраги. Здесь мы собирали лебеду, шли домой и принимались за обед. Это был весенне-летний обед: щи из лебеды, котлеты из лебеды, тушенка из лебеды. И так каждый день. Большим праздником для нас была выдача сахара, или, вернее, отоваривание сахарных талонов. В то время вместо сахара можно было выкупить шоколад, только вместо 300 граммов сахара давали 240 граммов американского шоколада. Когда мы его выкупали, мы каждый раз давали себе слово растянуть его на несколько дней, чтобы утром или вечером пить чай, но каждый раз нам не хватало на это силы воли.

Получив шоколад, мы ложились в кровать (наши кровати были рядом), клали на табуретку наши плитки шоколада и не могли заснуть, пока их не съедали.

Того домика уже давно нет, его еще в блокаду сломали на дрова, не знаю, где и Нина. Она вскоре ушла с завода.

В длинный летний день, когда мы возвращались с работы, уже к 9 часам вечера всегда очень хотелось есть. И тогда, чтобы заглушить голод, я рисовала, пока было светло. У меня еще оставались с мирного времени масляные краски, и я нарисовала на двери два пейзажа - в верхней части лес, впереди речка и через нее мостик, в нижней - вечер, украинская мазанка, а по дороге пастух гонит овец. Рисовала я и акварелью на бумаге. Я все время старалась себя чем-то занять - вышивала, вязала, читала. В то время я была записана в двух библиотеках (с первых же дней их работы): имени Крупской и Дома культуры текстильщиков.

После того, как мы закончили работы на вагоноремонтном заводе, нам дали новое задание по строительству баррикады на улице Ткачей у дома № 13. Это уже совсем рядом с моим домом № 19. Мы построили сооружение из земли и камня в виде трапеции около 3 метров в основании и 2-2,5 метра высотой. В центре был проход в 1,5 метра. Оно полностью преградило улицу для продвижения транспорта, но, вряд ли, стало бы преградой для танков.

Когда мы закончили и эти работы, нашими рабочими объектами стали дома на Палевском проспекте (ныне пр. Елизарова). Здесь, в угловых квартирах второго этажа, мы устанавливали амбразуры, или, как тогда говорили, пулеметные гнезда. Мне как бригадиру дали ключи от квартиры. Когда мы вошли в квартиру, в ней было темно, окна заколочены досками, но все напоминало о мирном времени: на трюмо и комоды вышитые салфеточки, кружевные скатерти, различные статуэтки, семь слоников - олицетворение счастья, кровати застелены пикейными одеялами, подушки покрыты тюлевыми накидками. Вероятно, хозяева уехали вскоре после объявления войны, задолго до полного окружения Ленинграда, и собирались скоро вернуться. Ведь в самом начале войны говорили, что Ленинград могут бомбить, и с детьми лучше уехать на время из города.

Я предупредила всех, чтобы ничего не трогали. Да и нужно ли это было? В бригаде народ был честный.

Прежде всего мы вынули рамы. Делали это очень осторожно, чтобы не разбить уцелевшие стекла, и ставили подальше от нашего рабочего места. К подъезду нам подвезли кирпич, цемент, песок, ящик для приготовления раствора, лопаты, мастерки. Воду мы носили из квартиры первого этажа. К этому времени в нашем районе коммуникации были восстановлены: водопровод и канализация работали уже с весны.

Нашу бригаду разделили на группы по 5-6 человек, и мы работали в разных квартирах. Укладку делала я сама, мне подносили кирпич и раствор. Чтобы было крепче, делали ее в два кирпича. Хотелось не только мастерком работать, но и руками проверить крепость сделанного. К концу работы из всех пальцев сочилась кровь - кожу пальцев разъедало цементом.

Питались мы в столовой мыловаренного завода, расположенного напротив домов, где мы работали. Мы ходили организованно, в проходной нас всегда пересчитывали.

В этот период кормили нас в основном горохом: суп-горох, каша, размазанная по тарелке (60-80 граммов), тоже гороховая и маленькая котлетка на мясной талон. Тогда каждую порцию взвешивали на весах. Меню было всегда одно и то же, но так как мы постоянно испытывали чувство голода, оно не могло нам надоесть. И как бы голодна не была, я никогда не облизывала тарелку, как это делали многие.

Однажды, возвращаясь из столовой, я встретила Надю Кузнецову, младшую сестренку моей подруги, одноклассницы Нины. Она рассказала, что учится в школе радистов на Каменном острове, что Нина и Капа, ее вторая сестра, уже окончили эту школу и сейчас на фронте.

И я загорелась желанием попасть туда, так как в военкомат до сих пор меня не вызывали. На это я «соблазнила» Тамару Павлову. В один из сентябрьских дней мы отпросились с работы и отправились устраиваться в школу радистов. Нас тут же направили на комиссию, проверили слух и признали годными. На мое счастье, зрение, которое у меня тогда уже было плохим, не проверяли. Нам выдали справки для оформления расчета на заводе.

С оборонных работ нас по этим справкам отпустили, и мы пошли на завод, считая себя радистами, а через два месяца, как представляли, мы уже на фронте. Наши паспорта в то время находились в первом отделе на заводе. Мы пошли туда. Вот тут-то неожиданно и появилось препятствие. Паспорт мне не вернули, но только мне, а Тамаре его выдали. Начальник первого отдела оказался ее дядей, и хотя она просила за меня, он сказал: "Не могу, на заводе некому работать, а завод получил новые военные заказы". Вместо паспорта он дал направление в цех № 35. Так я попала в строительный цех. Наша бригада некоторое время еще трудилась на оборонных работах, а потом на разборке деревянных домов на топливо. Рабочей силы действительно тогда не хватало - многие умерли, сотни тысяч эвакуировались, многие еще не могли работать: находились в стационарах или в госпиталях после ранения. Ленинград часто обстреливали и бомбили.

Цех куда меня направили, был одним из ведущих цехов завода. Непосредственно для фронта здесь выпускались буи, которые мы потом на саночках втроем перевозили через дорогу на другую сторону завода, расположенную на берегу Невы. Здесь, в цехе № 5, буи красили и отправляли по назначению. В нашем цехе делали ящики под снаряды. Ох, сколько их было сделано! Цех обслуживал и другие цеха завода: устанавливал станки, делал опалубку, латал крыши цехов, ставил печи даже для литейного цеха, проводил и другие работы.

В строительном цехе я начала работать чернорабочей. Это было в конце сентября, в холод и дождь мы развозили на платформе нами же груженный кирпич и бутовую плиту по цехам, где работали наши специалисты на укладке печей и заливке станков. Специалистами были хорошие опытные пожилые мужчины. Печником работал дядя Миша Парамонов. Он здорово складывал печи, а мы с Машей Камышевой были у него подручными, подавали ему кирпич и учились у него печному делу. Кирпич был разный, в основном огнеупорный, разных размеров, встречался полый. Для разных печей требовался разный кирпич. И первый раз мы привезли не тот кирпич, который требовался. Побывали мы почти во всех цехах. Восстанавливали и старые цеха, которые в прошлую зиму прекратили работать. В таких цехах работал дед Максим со своим сыном Мишей Волковым, которому тоже было

уже к пятидесяти годам. С ними работали два парнишки - ремесленники Толя Тимонин и Юра Земсков.

Мы подвозили им бутовую плиту, замешивали цементный раствор, а они делали опалубку и заливали станки, установленные монтажниками.

В нашем цехе нормировщиком был пожилой человек, старый интеллигент Владимир Иванович. Первую зиму он пережил, но наступала вторая, а он становился все слабее. На работу он ходил каждый день, на печке-временке сушил свой паек хлеба, но работать ему было уже тяжело, да и ходить далеко, жил он на одной из Советских улиц. Тогда решили обучить бухгалтерскому делу меня. Владимир Иванович научил меня писать наряды, показал работу нормировщика.

В декабре Владимир Иванович умер. Об этом сообщила его дочь - художница, которая в то время не работала. Она была очень истощена, но чувствовалась в ней доброта и женская гордость, тонкие черты лица и темные косы делали ее лицо красивым. Мастер Сергей Иванович Мызин взял ее на работу, но работала она недолго, вскоре ушла.

В мои обязанности как бухгалтера входило составление нарядов, все расчеты по ним, подготовка зарплат, выдача зарплат, составление списков на продовольственные карточки и выдача карточек. В цехе было около 50 человек.

Так я работала всю зиму и весну 1943 года. В самые темные холодные зимние месяцы у нас в цехе отвели две комнаты - для мужчин и для женщин, и мы перешли на казарменное положение. Работали мы с 8 утра до 8-10 часов вечера и оставались здесь, чтобы сохранить свои силы на завтрашний день.

В один из зимних дней 1942 года я вдруг почувствовала себя на работе плохо. В глазах потемнело, и я с трудом добралась по стеночке до своей койки. Об этом знала уборщица тетя Паня. А потом я потеряла сознание. Помню, на какой-то момент я очнулась, открыла глаза и увидела врача в белом халате, но тут же опять все куда-то уплыло. На другой день, когда я окончательно пришла в себя, тетя Клава Ермакова мне рассказала, что вчера меня хотели отправить в Боткинские бараки, так как у меня была высокая температура, и врач боялась, что это тиф. Но начальник цеха Павел Александрович попросил подождать: может быть, это просто сильная простуда при

истощенном организме. Он попросил тетю Клаву поухаживать за мной. У Павла Александровича на Ленинградском фронте был брат Николай, и в это время он заехал на завод. Когда тетя Клава ему сказала обо мне, он налил в чайную чашку спирт, разбавил его водой и дал еще кусок булки с маслом и сахарным песком. Я уже не помнила, когда я ела булку, да еще с маслом. Я выпила весь спирт, съела булку и как-то сразу почувствовала себя лучше.

Через некоторое время заглянула Маша Гнедыш - красивая девушка с огромными глазами, работала у нас в цехе чернорабочей. На ее лице голод не очень отразился. Ее глаза стали еще шире, когда она увидела, что в моих глазах нет сна, что спирт на меня не подействовал. Вероятно, организм был настолько истощен, что даже значительная порция спирта не произвела на меня внешнего действия, но выздоровлению, конечно, помогла. Слабость постепенно прошла, и я через неделю стала работать. Так спас мне жизнь Павел Александрович. Ведь если бы меня отправили в Боткинские бараки, возможно, я и не вернулась бы оттуда.

Однажды он вызвал меня в кабинет и предложил перейти в кладовщицы. В то время там уже много лет работала Надя Шевченко, и ей очень не хотелось уходить. На складе были краски, гвозди, солярка, керосин, олифа и другие строительные материалы, и Надя приспособилась "пускать их налево", как сказал мне Павел Александрович. Особенно большим спросом пользовалась тогда олифа - ее употребляли вместо подсолнечного масла.

Здесь мне стало немножко легче, я стала получать рабочую карточку (бухгалтеру полагалась служащая).

Весной партизаны привезли в Ленинград картошку, которую распределили по предприятиям. Два-три человека от каждого цеха целый день развешивали картошку по три килограмма на каждого работающего. Нам разрешали там есть ее сырую, и люди ели, а я не могла, несмотря на то, что очень хотелось есть.

Каждый из работающих на заводе получил по три килограмма картошки. Это была для меня уже вторая военная картошка. Первую я купила летом 1942 года на рынке, когда получила по страховке за папу 3000 рублей. Получила и сразу истратила 1200 рублей. Килограмм

картошки стоил 300 рублей, турнепс, брюква, свекла и репа, которые я тоже купила, - 150-200 рублей, хлеб - 30-35 рублей за 100 граммов.

Все овощи я почистила, сложила в четырехлитровую кастрюлю, тушила в печке и за один день полностью уплела. И остальные деньги я истратила тогда же на овощи. Три тысячи рублей для истощенного человека хватило на три сытных обеда.

И еще осталось в памяти на всю жизнь, как партизаны летом 1943 года привезли нам узбекистанский рис. Всем досталось по два килограмма. Рис, который мы не пробовали с мирных дней. В первые дни после объявления войны его давали на детские карточки, а потом он и вообще исчез. И вот вдруг рис! И так много! И такой мучнистый! Нам жалко было смывать эту муку, и мы варили его немытым. С работы мы шли к Марусе Камышевой (она жила в квартире одна) и варили в трехлитровой кастрюле рисовую кашу. И за вечер съедали ее всю. Вот тогда у нас впервые за время войны появилось чувство сытости. И то на какой-то момент. Когда мы съели весь рис, мы это чувство снова потеряли.

Но вернемся к зиме 1942 года. Я все еще ходила в больших папиных валенках 42 размера. И однажды на территории завода меня остановил пожарник (на заводе была своя пожарная охрана) и предложил мои валенки поменять на женские, фетровые. Мне жаль было папиных валенок, хоть и тяжелые они были, но я привыкла. И все же я согласилась. Вечером в тот же день он принес маленькие беленькие валеночки, они оказались мне как раз по ноге. Мы обменялись, и я больше не стала похожа на того мальчика с пальчик, который шагал в семиверстных сапогах. Теперь мне стало так легко ходить. В то время наши рабочие сколачивали ящики под снаряды в третьем цехе. Гвоздей требовалось много, и я носила ящики по 25 килограммов перед собой. Не раз мне говорил мастер цеха Сергей Иванович, чтобы рабочие сами носили ящики, а я бы только выдавала их со склада, но мне казалось это нерациональным. А когда у меня выдавалась свободная минута, я помогала сколачивать ящики. Рабочих не хватало, к нам на завод прислали солдат после ранения и контузии. Хорошо запомнились двое: молодой красивый парень, татарин (от контузии он потерял речь) и немножко постарше его русский. Они были друзьями, жили вместе в общежитии, вместе работали плотниками. Но уж очень горячим был

татарин. Кто-то из них кого-то не понял, и татарин пробил голову своему другу ножкой стула. Работали они у нас недолго. Однажды приходим на работу, а там уже сидит татарин и всех встречает. От радости, что заговорил, он пришел раньше всех. Вскоре они оба ушли на фронт.

Наступил Новый 1943 год. Отметим мы его на заводе, в своем общежитии, со светом и горячим чаем с шоколадом. Выдали нам и по пол-литра водки, которую я поменяла на целую буханку солдатского хлеба, и в Новый год наелась его досыта. Казалось, если будешь сыт в Новый год, будешь сыт и весь год. Мы и по карточкам уже получали по 500 граммов хлеба, и все-таки постоянно хотелось есть. Я приспособилась из хлеба варить суп и кашу - так казалось сытнее. Из 300 граммов готовила обед, а двести съедала хлебом, да еще мечтала, как досыта буду есть такую кашу, когда кончится война. Казалось, ничего не может быть вкуснее хлебной каши.

По радио нас поздравил с Новым годом Михаил Иванович Калинин. С Новым годом пришли и новые надежды на Победу. Все чаще стали поговаривать о подготовке наших войск к прорыву Ленинградской блокады. И хотя это все держалось в секрете, мы все ожидали каких-то перемен.

Предшествующая неделя была морозной и солнечной, с необычно прозрачным для Ленинграда голубым небом и несмолкающим гулом артиллерийской канонады. Мы чувствовали, что где-то вдали, а потом нам стало казаться, что совсем рядом, и днем и ночью идут ожесточенные бои. Это были дни трепетного ожидания, дни тревожных надежд. Какое-то труднообъяснимое, радостное напряжение росло с каждым днем. Мы были - все внимание, с нетерпением ждали какого-то особенного голоса диктора, но черная тарелка радио молчала, что-то скрывала от нас.

В один из этих дней немецкому самолету удалось прорваться в Ленинград и сбросить листовки. Я шла за хлебом в булочную, когда маленькие прямоугольные листки прямо передо мной упали на снег. К немецким листовкам у меня всегда было какое-то брезгливое чувство, мне казалось, что они испачканы кровью, ведь их сбрасывал фашист, руками которого загублено столько русских жизней! Листовки у меня вызывали отвращение, я не могла их коснуться руками, но на

этот раз я присела и в таком положении прочитала (не беря в руки листовку) о том, что эта бумажка служит пропуском! Куда? Оказывается, к немцам! На кого рассчитывали эти изверги? Или, чувствуя свой конец, они решили сбросить остатки своей брехни?

18 января мы работали на восстановлении пятого цеха. Дед Максим, 68-летний старик, с двумя подручными, Толей Тимониным и Юрой Земсковым, сооружали опалубку вокруг станков, Маруся Камышева мешала цемент, а мы с тетей Клавой Ермаковой перебрасывали его за опалубку и ровняли - все это называлось заливкой станков. Работы было много, поэтому каждый день проходил быстро, хотя и работали мы с 8 часов утра до 8 вечера. Так и этот день, 18 января, проскочил быстро, тем более, что он был не совсем обычным - сегодня все, кроме радио, очень много говорили об успешных боях на Ленинградском фронте. По радио об этом ни слова!

Кончился рабочий день. Дома меня никто не ждет, но все равно хочется скорее домой. Вернулась усталая, но с искренней надеждой услышать подтверждение сегодняшних разговоров. А черная тарелка по-прежнему молчит. Есть нечего, хочется спать, но почему она молчит? Уже скоро 12 часов ночи, надо набраться терпения и ждать! Но все-таки задремала...И вдруг просыпаюсь от каких-то далеких, неясных криков. А голос диктора уже повторяет: "Блокада Ленинграда прорвана"... и краткая сводка Информбюро. А потом такой родной, такой знакомый голос нашей дорогой Ольги Бертгольц.

В эту ночь ленинградцы не спали, они не могли со своей радостью оставаться в одиночестве, это была их общая радость. Все вышли на улицы и долго еще в разных концах города раздавались радостные крики "ура"! И никто с них не требовал пропусков.

Все: и радость, и горе - слилось воедино! 575 дней миновало с 22 июня 1941 года, а сколько горя, сколько потерь, сколько крови пролилось за это время: уже нет ни папы, ни мамы, ни Юрика; нет многих друзей: одни из них умерли от голода и среди них мои одноклассники Валя Евтюнина и Таня Бакланова, Катя Русова; другие погибли от бомб и снарядов: Люся Самбурова, Нина Жукова, Валя. Уже не вернутся с войны Костя Спиридонов, Леня Орлов, Жоржка Масютин. И слезы... слезы горя, горечь безвозвратных потерь прекрасных человеческих жизней, а вместе с тем и слезы радости. Как

все это странно перемешалось! Но так было. И была правда в том, что незабываемый день 18 января вернул на лица ленинградцев улыбки, а вместе с улыбками и слезы. И не вдруг сразу появились улыбки. Мне казалось, что я навсегда разучилась не только смеяться, но и улыбаться. И только когда в конце 1943 - начале 1944 года мы стали ходить в кино и на танцы, когда почувствовали в себе больше жизни, почувствовали внимание окружающих, мы снова стали шутить, улыбаться, смеяться.

А до этого был еще один год титанического труда и борьбы, те же обстрелы и бомбежки, еще не раз улицы обагрялись кровью ленинградцев, но мы уже не были оторваны от Большой земли, мы верили, что победа близка и придет время, когда все это кончится и мы снова почувствуем свободу во всей ее сущности. Поскорей бы!!!

А пока мы продолжали выполнять военные заказы (сбивали ящики под снаряды), восстанавливать другие цеха и жилые дома для рабочих завода. Работы было очень много. Завод был уже не тот, каким я его застала в апреле 1942 года, когда многие цеха были разрушены или стояли демонтированными. Я по-прежнему бегала по территории завода, обеспечивая гвоздями наших рабочих. А устраивались наши рабочие обычно в пустых демонтированных цехах, часто на самых отдаленных участках, куда можно было завезти доски, тут же из них делали заготовки и сколачивали ящики. Ящики были большие, до двух метров длины, поэтому нужен еще был и угол, куда бы можно было их сложить до отвозки. И еще одно условие: нам нужна была железнодорожная линия, по которой на платформах мы могли вывозить готовые ящики. А когда приходило время восстанавливать этот цех, нас переселяли в следующий. Пиломатериалы для ящиков и других нужд (например, опалубки станков) мы тоже готовили сами. Еще в 1942 году, осенью, на берегу Невы под навесом была установлена циркулярная пила, и здесь под руководством мастера Миши Волкова наши женщины - тетя Клава Ермакова, тетя Поля Бобкова, тетя Нюра Волкова и ребята - Юра Земсков и Толя Тимонин пилили доски на брусья, готовили материал для ящиков, а потом отвозили его на другую сторону завода, где сколачивали ящики. Тогда я стала разбираться, что такое брус, горбыль, дюймовые, двухдюймовые доски.

Рядом с лесопильным цехом стояли жилые деревянные одноэтажные домики, где жили мои одноклассницы Таня Бакланова и

Валя Евтюнина. Еще до войны, когда мы учились в школе, я бывала у них, хотя попасть на территорию завода было не так легко. Нужно было заранее выправить пропуск. Домики стояли, но девочек уже не было, не пережили они прошлогоднюю страшную зиму.

Будучи кладовщицей, много я перетаскала гвоздей. Ящики в 15-25 килограммов весом я носила перед собой на руках в цеха, где работали рабочие, а это было не так близко. И почему тогда не могли какую-нибудь тележку сделать? Ведь было бы гораздо легче! Вероятно, об этом некогда было думать. А наши столяры и плотники просто "глotalи" гвозди, я едва успевала за ними.

Летом в синем платье в белый горошек, которое я сшила из оставшегося с довоенных времен куса майи, и в таком же платочке, с тяжелыми ящиками перед собой я ходила по территории завода то в один, то в другой цех.

Тетя Поля Бобкова очень сильно хромала - у нее еще в детстве была повреждена нога. Вскоре ее перевели в цех к тете Пани. Они работали посменно как дежурные уборщицы. У тети Пани дочь Фаина была эвакуирована с детьми в г. Уфу, и она очень просила мать дать вызов в Ленинград, но в то время въезд в Ленинград с детьми еще не разрешали. Тетю Полю постигла другая судьба. Тогда я ее жалела, но когда я сама стала матерью, я перестала ее понимать. Тетя Поля пришла в цех № 35 одновременно со мной, вместе мы начинали работать на разных работах, вместе возили кирпич, буи, работали на лесопилке и как-то сдружились. Я часто ночевала у нее - она жила рядом с заводом в Безымянном переулке, в банном доме. Она осталась одна, и нам вместе было легче переносить невзгоды. В эти вечера мы много рассказывали друг другу о себе. Ее жизнь в два с половиной раза длиннее моей, конечно, была более насыщена всякими событиями. И самое страшное из них случилось в январе 1942 года.

До завода Ленина тетя Поля работала на гвоздильном заводе сторожем. У нее были ключи от помещения, где хранился хлеб. И вот эти ключи каким-то образом оказались у ее ребят. Они открыли кладовку и взяли буханку хлеба, как рассказывала тетя Поля. Их всех троих: мать, дочь Нину 20 лет и одиннадцатилетнего сына Шурика судили. Кто-то был в краже хлеба виноват: или мать, или дети. И тогда тетя Поля решила так: если посадят ее, дети останутся одни и все равно

не вынесут такого голода; если посадят их и отправят на Большую землю, даже в заключении они будут меньше голодать, чем в Ленинграде. И она обвинила их. Она видела детей в последний раз, когда после зачтения приговора о двухлетнем заключении их увели. Ждала писем, но безрезультатно - дети не вернулись и после войны. Был у нее сын Борис, о котором она часто вспоминала как о своем любимце, вспоминала его жизнь во всех ее подробностях. Он умер в 17 лет в начале 1942 года от голода. Тогда я искренне жалела ее, и она относилась ко мне, как к дочери. Я часто бывала у нее, стараясь облегчить ее страдания, помогая забыться. И когда потом пошла учиться, часто навещала ее. Она была уже на пенсии. Когда уехала после окончания аспирантуры на Север, к каждому празднику посылала ей по 150-200 рублей (старыми деньгами), хотя, может быть, это ей не так уж и нужно было. Она жила одна и неплохо. Она умела жить! И, в конце концов, я поняла, что тетя Поля не такая уж хорошая, как я о ней думала все это время. Наверное, по этой причине не любила ее и тетя Паня. Об умерших плохо не говорят. В каждом человеке есть много хорошего, есть и плохое. Разница в том, что у одних больше первого, у других - второго. Мне импонируют люди с чистой совестью, добрые, бескорыстные, отзывчивые, правдивые. Мне думается, тетю Полю к ним отнести нельзя.

В 1943 году мы еще не наедались досыта, но и от голода не умирали. Да и топливо можно было достать. У нас на улице Ткачей открыли хозяйственный магазин в том помещении, куда в 1942 году мы свозили покойников. В нем продавали брикеты каменного угля по талонам, выданным домоуправлением. Однажды я выкупила его и натопила печку. Как всегда, пока она топилась, я, сидя перед ней, вязала и напевала песню "Жди меня". Когда печка протопилась, я наполовину закрыла трубу, а чтобы в комнате было теплее, оставила дверцу печки открытой. Примерно на расстоянии одного метра от печки стояла оттоманка, и я прилегла головой к печке. Теплый воздух меня согревал, и я заснула. Сколько я спала, не знаю, но когда проснулась, было совсем темно. Я решила встать, но у меня закружилась голова. И все-таки я вышла из комнаты и по стенке дошла до кухни, хотела включить свет, но не нашла выключатель. Как попала в кухню, не заметила, а вот выйти из нее я уже не могла. В кухне у соседки стоял диванчик, и я,

отчаявшись найти выход, легла на него и, вероятно, потеряла сознание. На мое счастье в кухне было очень холодно - мы ее не топили, поэтому к утру я, вся продрогшая, пришла в себя. Зверский холод меня спас. Тогда я поняла, почему говорят: "как угорелый". Утром с тяжелой головой я с трудом добралась до работы.

Зимой 1943 года наши рабочие построили в цехе баню. Банька была маленькая, но настоящая, как говорили, деревенская: здесь была и печь, и полоч, и сколько хочешь пару поддавай. Наше начальство было в восторге, а я, городской житель, задыхалась в парной бане. Да и какой пар для дистрофика? Правда, дистрофик уже становился похожим на человека, молодость брала свое. И все же пар был не для меня, и я обычно мылась одна, когда все уже помылись, и в бане становилось прохладнее. Однажды, когда я мылась, а банька была без окон, начался обстрел завода, снаряды рвались где-то недалеко, от сотрясения мигал свет, и почему-то был один страх: а что если снаряд попадет в баню, а я раздетая? И все-таки я мылась, вырабатывая в себе силу воли. И пока я мылась, взрывы снарядов стали глуше.

Зима 1942-1943 года была тяжелой, немцы по-прежнему обстреливали и бомбили Ленинград. Карточки отоваривались полностью, но истощенным ленинградцам этого было мало, трудно было с промтоварами. Все так же работали без выходных, по 10-12 часов, без отпусков. Но заработал водопровод, и мы уже могли помыться в бане. В сентябре дали электроэнергию. Заводы заработали в полную силу. Дома был установлен жесткий лимит пользования электроэнергией, но и это было большой радостью. О коптилках мы только вспоминали.

Находясь на казарменном положении, я очень часто бегала после работы домой, иногда даже и ночевала дома, хотя было очень холодно. Комната казалась нежилой, насквозь промерзшей. Так бывает, когда долго отсутствуют хозяин.

Домой бегала обычно по Большому Смоленскому проспекту, через бывшее кладбище, по Палевскому проспекту (пр. Елизарова), мимо Надюшкиного дома, по Мартыновской, Ольгинской улицам и по своей улице Ткачей. Однажды, пробегая по кладбищу, я поскользнулась и упала, сумочка раскрылась, и из нее высыпалось содержимое, среди которого была и Васина фотокарточка. Я больше всего испугалась,

чтобы ветер не унес ее. Я быстренько все собрала, а когда пришла домой, не обнаружила хлебной карточки. Хорошо, что это была только половинка карточки - на 200 граммов хлеба и всего на два дня. Карточка была очень маленькой, и я не заметила, как ее отнес ветер. В то время уже смеркалось. Очень жаль было карточку, ведь хлеба все еще не хватало, и я из половины нормы по-прежнему варила кашу.

Запомнился и такой случай. Пришла я домой вечером, а дома в мое отсутствие всегда были закрыты ставни, их сделал еще в начале войны папа. И только я открыла дверь в комнату, как сверху, с буфета, прыгнула огромная крыса. Оказывается, она лопала там хозяйственное мыло, которое еще до войны папе давали на работе. И мыло осталось с тех времен. Небольшую корзиночку, где находилось 2-3 куска мыла, я поставила повыше, на буфет. И вот крыса нашла его там, ведь есть-то нечего было, в доме больше ничего не было. Я умудрилась даже столарный клей съесть.

От мыла остались лишь небольшие обгрызенные кусочки. Видно, крыса уже давно здесь питалась. У печки, за плинтусом, я обнаружила большую дыру, через которую ушла крыса. Я мелко набила стекло и засыпала им дыру. А для большей надежности еще замазала цементом. Когда я оставалась ночевать дома, крысы не давали мне спать, они жутко скреблись! Где крысы, там должны быть и кошки, но, к сожалению, в то время их в Ленинграде уже не было. У нас кошка погибла от голода в октябре 1941 года. Многим кошкам досталась участь быть съеденными дистрофиками. Только после войны кошек стали завозить в Ленинград. Их боялись выпускать на улицу. Обычно счастливый хозяин держал кошку на руках, прогуливаясь с ней, а народ смотрел на нее, как на диковинного заморского зверя, которого видят впервые. И не только кошки исчезли во время блокады, но и голуби, и даже вороны, не говоря уже о собаках. Многих из них съели голодные ленинградцы. Никаких животных, кроме крыс и мышей, в Ленинграде не оставалось. Только эти нахальные твари еще находили для себя что-то съедобное. Они не брезговали и покойниками, которые подчас долгое время находились в опустевших квартирах.

А ведь собаку и мне довелось попробовать! Вскоре после войны вернулась из эвакуации моя довоенная подружка Лиля Николаева. Вероятно, она уже была больна туберкулезом, но работа во вредном

цехе (эмалировка значков) ускорила процесс в легких, и Лиля таяла на глазах, а ей так хотелось жить! Как-то она сказала мне: уж лучше бы это был сифилис, ведь он все-таки излечим. Отец купил ей собаку и зажарил. Собачка была жирная, и Лиля стала угощать меня. Мне было очень неприятно даже попробовать собачье мясо, но я не могла огорчить больного человека и кусочек съела. И этот кусочек оказался в самом деле вкусным. Но больше у меня никогда не появлялось желание полакомиться собачиной.

В 1943 году нам стали давать на ужин дополнительные стахановские талоны. Все, кто перевыполнял нормы, получали их. На талон полагалась котлетка с кашей, соевое молоко, запеканка из шрота. Наши дети и внуки не знают, что такое шрот, а мы им набивали свои пустые желудки, употребляя их то в виде запеканки, то в виде биточков или просто каши. Шрот - это переработанные обезжиренные соевые бобы, из которых получали молоко.

Весной того же года там, где за заводом был пустырь, нам отвели участок под огороды. У меня было пять грядок. Я посеяла турнепс, свеклу, морковь, немножко укропа, посадила картошку. Картофель для посадки нам выдали на заводе. Картофелины бы ли крупные, я вырезала для посадки только глазки, а остальное оставила на обед.

После работы каждый вечер я ходила на огород. Вначале копала грядки (поднимала целину), потом сеяла овощи и сажала картофель, прореживала всходы, полола, окапывала, поливала. И этот маленький огородик помогал жить, способствовал хорошему настроению. В это лето я уже не питалась лебедой, у меня были свои овощи.

25 июня 1943 года нам в торжественной обстановке в столовой завода вручили медали "За оборону Ленинграда".

Город был еще в блокаде, и нужно было готовиться к зиме. Привозить топливо с Большой земли было еще трудно, не хватало транспорта, и тогда трудящиеся нашего Володарского и других районов бросили клич: начнем торфоразработки, прилегающие к нашим районам. Были определены места торфоразработок, и заводы направили своих рабочих. В 1943 году многие цеха на ленинградских заводах были восстановлены, планы значительно повысились, а рабочих стало меньше. Тогда был новый призыв: "Все, кто в состоянии работать, - на заводы, на предприятия Ленинграда". Многие тогда

пришли на производство впервые. Целый ряд мелких предприятий были закрыты, и у нас на заводе появились новые люди. Становилось все оживленнее, энергично восстанавливались цеха, была пущена мартеновская печь.

Летом 1943 года немцы еще пытались прорваться в Ленинград - они методично обстреливали город, бомбили, сбрасывали зажигалки, пытались сжечь его. Люди погибали от осколков бомб и снарядов. Попадала и я под обстрелы, но на мое счастье все осколки пролетели мимо, не задев меня, а это значит, что мне повезло. Тогда жизнь могла оборваться совершенно неожиданно, как на фронте.

Ленинград был городом-фронтом. Солдаты и офицеры приходили с передовой в город пешком и бывали случаи, что погибали здесь, а не на фронте. Часто можно было слышать от военных, что на фронте знаешь, откуда пуля летит, где могут разорваться мина или снаряд, а в городе не знаешь, где тебя поджидает смерть. Да, это было так.

За самые тяжелые месяцы ленинградцы как-то попривыкли к обстрелам и бомбежкам. Хотя было и страшно, но не всегда прятались, когда это нужно было, надеясь добежать домой или на работу, и нередко за это расплачивались жизнью. А немцы уже пристрелялись и били по трамвайным остановкам, по проходным заводам именно в то время, когда кончалась рабочая смена.

Свекровь, Елена Ивановна М., работала на Металлическом заводе на Выборгской стороне охранницей в проходной. Не успела она сменить свою напарницу, как рядом разорвался снаряд, и напарница упала перед ней без головы - голову оторвало осколком. Елену Ивановну не задел ни один осколок. Но было очень страшно!

Немцы по-прежнему обстреливали и бомбили все заводы. Валя Кузнецова работала тогда на заводе "Большевик". Прямо у станка она была тяжело ранена и эвакуирована вместе с госпиталем в тыл. Через шесть месяцев, когда поправилась, снова вернулась на свой завод.

На заводе была ранена и тетя Маруся Уразбаева. Ее муж, шофер, в это время по Ладоге доставлял продукты ленинградцам, а военную продукцию, выпущенную ленинградскими заводами, вывозил по той же Ладоге москвичам.

Еще продолжали рушиться дома от снарядов и бомб, а мы уже приступили к восстановлению жилого дома, пострадавшего в прошлом

году в Апраксином переулке. Мы его восстанавливали для своих рабочих. Помню добрую женщину, тетю Нюру Волкову, с которой работала в одной бригаде, сначала по уборке дома, а затем вместе укладывали кирпичи, восстанавливали стены.

Когда был восстановлен дом в Апраксином, нам дали недостроенный дом в Щемиловке. На этой стройке погиб Юра Земсков, семнадцатилетний парнишка, переживший самое страшное время блокады. На крышу поднимали бревно, и оно сорвалось прямо на Юру. Каких только неожиданностей в жизни не встречается! Заместитель начальника цеха С.И. шесть месяцев выплачивал 25 процентов от своей зарплаты за нарушение техники безопасности с летальным исходом.

Весь 1943 год мы слышали, что наши войска готовятся к снятию блокады. Предполагали, что это будут жестокие бои, но никогда не думали, что немцы смогут прорваться в Ленинград, хотя и говорили о такой возможности. Такого представить мы никак не могли.

Уже с сентября военные действия на Ленинградском фронте оживились. То и дело доносились до нас глухие раскаты орудий. В конце 1943 года все упорнее и чаще говорили, что наши войска на Ленинградском и на Волховском фронтах готовятся к наступлению, готовятся к снятию блокады. На заводе это выражалось в более интенсивной работе. У нас делали ящики под снаряды, работали сверхурочно, заказы значительно увеличились. Когда на завод приходили военные заказчики, мы спрашивали: «Как на фронте»? У моряков, которые еще стояли на Неве, спрашивали: «Когда?» А они нам таинственно отвечали: «Скоро!» И мы ждали. Нас охватывало какое-то необыкновенное настроение. Мы с нетерпением ждали Октябрьских праздников, ждали выступления Сталина. В октябре 1943 года на Ленинград упала последняя фугасная бомба, но еще яростнее рвались снаряды на наших улицах, мы ждали одного, мы ждали наступления наших войск, мы верили, жили надеждой и никакие обстрелы не могли сломить этой веры ленинградцев. Прошло еще более двух месяцев, когда, наконец, мы не только почувствовали, но и услышали отдаленный гул. И повсюду таинственно говорили: «Началось»!

А в ночь на 15 января 1944 года мы были разбужены гулом близкой канонады - в доме все звенело и сотрясалось, тяжело вздрагивали

оконные рамы, скрипели дощатые ставни, прибитые еще в начале войны. Это был не тот отдаленный гул орудий, с которого начинался год тому назад прорыв блокады. Такого мы еще не слышали за всю войну. И этот грозный, ошеломляющий гул все нарастал и нарастал!

Вначале нам казалось, что голос ленинградских орудий все приближается - это потому, что били из орудий корабли, еще стоявшие на Неве. Они заглушили и те разорвавшиеся в последний раз 23 января на южных окраинах нашего города фашистские снаряды. Гул постепенно стихал и, наконец, исчез в отдалении. В последние дни можно было спокойно спать, спокойно ходить по опасной солнечной стороне наших улиц - больше не рвались снаряды, не падали бомбы на наши головы. Наступило мгновение испытать чувство возвращения к нормальной человеческой жизни. Но нам снова не спится, мы снова ждем и ждем с радостным нетерпением сообщений по радио.

Наступил тихий день 27 января. К 8 часам вечера почти все ленинградцы высыпали на улицы, площади, набережные. И тогда ожили репродукторы, объявляя приказ Военного совета фронта: "...враг разгромлен и отброшен от Ленинграда по всему фронту на 65-100 километров. Наступление продолжается... Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника. ...Граждане Ленинграда! Мужественные и стойкие ленинградцы! Вместе с войсками Ленинградского фронта вы отстояли наш родной город. Своим героическим трудом и стальной выдержкой, преодолевая все трудности и мучения блокады, вы ковали оружие победы над врагом, отдавая для дела победы все свои силы!..."

Раздались первые залпы салюта. На улицах стало светло от белых, зеленых, красных ракет. Впервые за годы осады Ленинград был освещен. Лучи этого света были видны с далеких окраин города. Все видели, как взлетали ракеты над площадью Урицкого (теперь Дворцовой). А над городом в его наступившей тишине гремели 24 залпами все 324 орудия. Они объявляли о начале новой жизни. Обнаженные в свете ракет раны города призывали ленинградцев к мирному труду, который рядом с военным начнется завтра. Ленинградцы были готовы с завтрашнего дня начать восстановление своего родного города, города, героически выстоявшего 900 дней жестокой осады с бомбежками и регулярными обстрелами, улицы

которого обгажены кровью ленинградцев, города, которому нет в мире равного, отдавшего столько человеческих жизней ради Победы!

В самые трудные блокадные годы меня не покидали две мечты: я мечтала учиться и не мыслила для себя иной жизни; я верила, что Вася вернется, и ждала его, очень ждала!

Каждую свободную минутку я бегала к тете Пане, но известий о нем не было. И когда тетя Паня сказала, что, наверное, его нет в живых, я даже обиделась на нее. Ведь она мать, как же она может говорить такое. Нет, он должен быть жив! Помню, как я везде и всюду, наедине вслух, а при людях про себя напевала песенку "Жди меня" К. Симонова. Особенно любила ее петь у печки, когда в ней потрескивали дрова, сказочным казалось синеватое пламя, от которого веяло теплом. Слова "...будем знать лишь мы с тобой, как среди огня ожиданием своим я спасла тебя" я воспринимала по-своему. Мы тогда дружили с Лидой Смирновой из нашего дома. Она окончила курсы медсестер и работала в Палевской больнице. Зимой, когда открылся наш Дом культуры, мы в первый раз пошли на танцы. Сшила я себе платье из парашютного шелка, который мне подарила Лидина мать, - Мария Ивановна, и покрасила его в цвет морской волны. Купила синие туфли за 800 рублей. Таких денег у меня не было, и я попросила тетю Полю продать оставшиеся еще с мирного времени тряпки, купленные мамой на платья, (тогда все было по карточкам и ордерам). Но этого было мало, пришлось отдать и мамину золотую браслетку. Вторую браслетку я отдала тете Вере за бутылку (0,5 литра) топленого масла. Она сказала, что это для жены генерала.

Билеты на танцы стоили 10 рублей, и нам приходилось иногда продавать хлеб (тогда 100 граммов стоили 10 рублей). Хотелось и есть, и танцевать. Но молодость берет свое - мы уже могли обменять хлеб на танцы.

Прибежишь с работы, переоденешься – и на танцы. Тогда корабли еще стояли на Неве, и на танцах было много моряков. Они стояли здесь еще с осени 1941 года, когда Ленинград был охвачен кольцом блокады: на Станционной стоял "Смелый", напротив Московской улицы - миноносец "Грозный"; против паровозоремонтного завода - крейсер "Киров", рядом с ним - "Горький". В самую страшную зиму 1941-1942 годов они стояли, зажатые невскими льдами. У меня всегда были

боевые подружки, хотя сама я была очень стеснительная. Лида быстро знакомилась с ребятами, и благодаря ей у меня появились знакомые моряки, но сердце было отдано Василию, и поэтому я могла сходить на танцы, прогуляться по набережной Невы, посидеть в компании, послушать граммофон, но полюбить? - Нет! Я ни от кого этого не скрывала, и ребята даже завидовали Василию, а мне говорили: «Война есть война, и всем известно, что такое морская пехота на «Невском пятачке»». Я обижалась, когда мне такое говорили, и еще больше верила в возвращение Василия.

После снятия блокады, как только вскрылась Нева, все корабли ушли в Финский залив, а затем в Прибалтику.

В начале января 1945 года пришла ко мне тетя Паня и сказала, что к ней домой зашла женщина с запиской, на которой был ее адрес и три слова: "Я жив! Василий". Тетя Паня никак не могла этому поверить, но женщина сказала, что в Обухове вели большую партию русских мужчин, и один из них передал эту записку ей и просил передать на словах, что был в плену, и сейчас их отправляют в Сибирь. Как только сможет написать - напишет. Это было после объявленного обмена военнопленными с Финляндией.

Как я была рада! Как я ждала письма, хотя и не думала, что он напишет мне сам. Ведь тогда плен считался позором. Я просила тетю Паню, когда она получит письмо, сразу сообщить мне. И сама почти каждый вечер после работы бегала к ней. И, наконец, долгожданное письмо она получила. Мы его читали и снова перечитывали. И это был его почерк, его письмо, также написанное карандашом, как более трех лет тому назад его последнее письмо ко мне, которое я столько раз читала, я знала его наизусть, но я всегда его читала, чтобы видеть его почерк, чтобы ощущать его присутствие. Письмо к матери было длинное, он много писал, много спрашивал, но обо мне даже не вспомнил. Мне было очень горько, ведь все эти годы только он был в мыслях со мной, только его я ждала, ждала и верила, что он вернется. Но и сейчас я продолжала верить!

Я написала ему письмо сама, такое, каких раньше никогда не писала, просто стеснялась. Я написала ему о том, как ждала его все эти годы! Как в самые голодные месяцы 1942 года мы ждали его вместе с его мамой. И он мне ответил. Письмо было очень длинное, написанное

на желтой оберточной бумаге. Как было много в нем хороших, теплых, добрых слов, сколько было любви! Вася был поражен, что я могла его так долго ждать и сейчас, когда он в беде, я его снова жду. О том, что я собираюсь приехать к нему, он пока еще не знал. Потом мы очень часто писали друг другу письма, полные надежд, письма о нашем будущем.

Первое Васино письмо я получила одновременно с письмом Васи И. Тот писал откуда-то с Баренцева моря. Еще когда стояли корабли у нас на Неве, он вместе с ребятами с "Грозящего" пришел ко мне с Лидой - она хотела меня познакомить с ним. Через несколько дней он признался, что полюбил меня и просит ни с кем не танцевать, так как сам он не танцует, и что он очень ревнивый. Что я могла ему тогда сказать? Я сказала, что люблю Васю и жду его, и буду ждать, поэтому не могу ничего обещать. Про меня никто ничего плохого не мог сказать. Все, кто пытался со мной познакомиться, знали, что это напрасно. Я ни от кого не скрывала, что жду любимого человека. Вася И. сказал, что я поступила честно, но попросил разрешения писать мне. Он хочет знать, дождусь ли я. Ему не верилось, что человек, пропавший без вести в начале войны, может когда-нибудь вернуться. Им всем не понять было меня! И вот от него-то и получила я письмо вместе с Васиным. И я, конечно, счастливая, как только может быть счастлив человек, ответила тому и другому. О том, как я счастлива, я написала Васе И. Я написала, что я наконец дождалась Василия, а его просила больше не писать. Больше он мне не писал, и только спустя три года, когда я училась в Лесотехнической академии, и у меня была Катя П. (мы с ней рассчитывали курсовой проект, а потом собирались пойти в баню, и были уже одеты), в дверь позвонили. Я открыла и растерялась - передо мной стоял Вася И., он был в форме летчика и служил где-то на Севере.

Вася нас проводил до бани и по дороге рассказал такую историю. В тот раз, когда они вернулись с моря, он получил мое письмо и тут же познакомился на берегу с девушкой и предложил ей выйти за него замуж. Она согласилась, и чуть ли не на второй день они записались. Тогда это было все очень просто. Брак оказался неудачным. Из его слов выходило, что виновата в основном она. Да, она была не в моем духе, если все было так, как говорил Вася. Когда он спросил, как сложилась жизнь у меня, я ему тоже рассказала все без утайки. Он очень просил

еще встретиться, просил подумать, предлагал уехать с ним на Кубань, а с женой хотел взять развод. Я сказала: «Это ни к чему»!

А к этому времени жизнь моя сложилась совсем не так, как я хотела, как ожидала! Василий к тому времени женился там, в Прокопьевске, на сибирячке, и рухнули все мои надежды, разрушилась такая, казалось, крепкая, выстраданная, блокадная любовь. Я тогда очень тяжело пережила эту драму, казалось, больше никогда никого не полюблю, да и зачем выходить замуж, лучше посвятить себя науке!

Еще на Западе полыхало пламя войны, а ленинградцы торопились залечить раны своего города к светлым дням Победы.

В июле 1943 года по распоряжению горисполкома Ленинграда были начаты первые восстановительные работы в городе, а теперь они разворачивались с полной силой, теперь нечего было бояться, над нами восстановилось мирное небо.

С 1944 года мы уже работали с выходными. В нашем районе работали все бани, и мы могли помыться в любое время дня. Я с трудом сняла ставни, ведь папа так их добротнo сделал, что, казалось, никакой осколок, никакая бомба не сможет их пробить.

После снятия блокады мы почувствовали такую свободу, такое счастье! Больше не давили нас мысли о том, что можем быть убитыми в любое время. Каждый день мы слышали по радио, читали в газетах окрыляющие нас сводки.

Немцев уже далеко отогнали от Ленинграда, и мы могли спокойно строить, восстанавливать наши дома. А те, которые уже невозможно было восстановить, разбирали по кирпичику, не оставляя и фундамента и расчищая место для скверов. Весь город отстраивался к приближающимся дням Победы.

Люди ожили, но у многих не заживали сердечные раны, почти не было в Ленинграде семьи, пришедшей к Победе в полном составе. Вот и я осталась одна, и каждый раз в радостные дни Победы меня охватывает двоякое чувство: чувство радости и одновременно чувство непроходящей тоски. И это второе становится еще тяжелее, когда думаешь, что им не пришлось дожить до этих дней. Но жизнь берет свое, и нам, пережившим самое тяжелое время, хотелось жить. Мы стали ходить в кино, на танцы, а в выходные ездили в театр. Помню, как мы с Лидой летом поехали в театр имени Горького на

дневной спектакль "Слуга двух господ". Собираясь в театр, я сварила кашу из хлеба, поела и поехала. И каков был мой ужас, когда во время второго действия я вдруг подумала, что оставила не выключенной плитку. Тут уже я дала волю своей фантазии, в конце концов, заключив тем, что дом мой уже догорает. Ну а дальше? Дальше меня сажают, отправляют в лагерь... И чего только еще не придумала!

Только из-за Лиды я дождалась конца пьесы и стремглав кинулась бежать на трамвай. Когда мы подъехали к нашей улице Ткачей, никаких пожарных машин на ней не было, было тихо, и все же мы бежали, как могли, быстрей. Дома все было в порядке, и холодная плитка смеялась над нами.

Однажды после работы, летом, мы поехали в кинотеатр "Аврора" на английский цветной кинофильм "Багдадский вор". Мы с большим удовольствием его посмотрели, но домой уже не успевали. После одиннадцати часов ходить по Ленинграду без пропуска все еще не разрешалось. Чтобы не быть задержанными, мы пошли искать укромное место, где бы нас не могли заметить. В июньские белые ночи это сделать не просто. Мы вышли на набережную Невы между Литейным и Кировским мостами, спустились к самой воде и там мы тревожно провели время до утра. Мы боялись, что нас заметят и отправят для выяснения личности в милицию, да еще, конечно, сообщат на работу и оштрафуют за нарушение распорядка ленинградской жизни. Нам повезло, все обошлось без происшествий, но эта белая ленинградская ночь запомнилась на всю жизнь. До войны мне так и не пришлось видеть разведенных мостов. Жила я далеко от них, а поехать специально так и не собралась. И вот в ту ночь мы впервые увидели эту неповторимую картину. Погода была прекрасная. Светлое голубое небо над Невой, туманная, но в то же время и прозрачная дымка, и вот в два часа ночи взметнулись над Невой мосты, а потом пошли корабли. Уже солнечные лучи пронизывали рассеивающую пелену, а корабли все шли и шли. Откуда их столько? Это было впечатляющее зрелище. Около пяти часов, когда все корабли прошли, мосты соединили, но они были по-прежнему пустынные - ни одного человека.

Много лет спустя я попала на Неву в день, когда школьники Ленинграда вышли на набережные Невы после выпускного бала.

Мы наблюдали, как разводили мосты, и как в пять часов их сводили, но тогда было все по-другому, тогда везде было много молодежи, такой жизнерадостной, легкой, весенней. Как только начали сводить мосты, они стремглав, наперегонки, ринулись на мосты. Они бежали навстречу новой жизни.

А в тот, еще военный год, мы просидели у воды до шести часов утра и отправились прямо на работу.

В августе 1944 года стало известно, что из эвакуации возвращаются некоторые институты, а мне так хотелось учиться! И мне казалось, что я не должна терять ни одного года, ведь мне уже 23 года. И вот, как только вернулся один из первых институтов - Ленинградский инженерно-строительный, я попросила расчет и поступила на первый курс. Занятия у нас начались с 1 октября. После долгой тишины стены института услышали вновь студенческие голоса. Мы сами наводили порядок, убирали подвалы, заваленные различными лепными курсовыми работами, планшетами, чертежными досками. Хлам был в кабинетах и коридорах. Все это мы выносили, убирали, мыли полы и окна.

И вот, наконец, все убрано, аудитории сверкают чистотой. После четырехлетнего перерыва мы снова становимся студентами. Учились мы с большим энтузиазмом. Ребята были веселые, активные, настоящие студенты. На Новый 1945 год такой вечер закатили! А в прошлом (1976) году, когда мы ездили в Петрозаводск для оформления договора о социалистическом соревновании с Карельским филиалом АН СССР, выяснилось, что Людмила Петровна, наш председатель объединенного профкома, тоже присутствовала на том вечере. Оказывается, и она тогда училась в ЛИСИ. Война еще продолжалась, и мы много занимались военной подготовкой, маршировали с винтовкой, стреляли в тире. В ЛИСИ я подружилась с Тамарой С., а она до войны училась в Лесотехнической академии, и ей хотелось вернуться туда. Но академия еще была в эвакуации. И все же мы с ней договорились: как только академия вернется в Ленинград, мы переходим туда, на факультет городского зеленого строительства. Так мы и сделали, с октября 1945 года перешли в академию на второй курс. И было это уже после полной победы над Германией и Японией, в начале мирных дней.

А в начале 1945 года война еще продолжалась, хотя и было ясно, что скоро наступит ее конец. Наши войска, освобождая город за городом, уже далеко продвинулись на запад. Этот марш сопровождался ожесточенными боями, еще гибли наши воины, они гибли и в день заключения мира и даже в те дни, когда весь мир торжествовал, празднуя Победу. А где-то еще прорывались оголтелые, недобитые банды и вновь проливалась кровь, уже непредвиденная, ужасно обидная.

В феврале я получила письмо от друзей Саши Паукку, где они писали, что он погиб смертью храбрых в Ростке, сгорел в танке. Ребята нашли у него в сумке недописанное мне письмо и отправили со своим сообщением. Они его похоронили как героя, дали несколько залпов и поклялись отплатить за его смерть. Так солдаты хоронили своих друзей, не доживших до Победы.

Ох, Саша, Саша! Ты прошел почти всю войну, оставалось совсем немного, и такой конец! А ведь ты освободил от немцев нашу землю, польскую, чехословацкую, ты уже вступил на территорию немцев, чтобы усмирить их. И вот, когда ты уже мечтал о встрече с Ленинградом, жизнь твоя так нелепо оборвалась. Ты ушел на фронт в первые дни войны, под Могилевом в 1942 году обморозил пальцы ног, лежал в госпитале, потом был ранен, и снова на фронт - на запад! Всю войну ты был танкистом. Как ты мечтал поскорей вернуться домой! Первое письмо Саша написал мне в январе 1945 года, в котором просил, если я жива, написать о его родителях, брате, так как от родных он ничего не получал, написать о себе.

Родители его умерли еще в 1942 году, брат Николай был на фронте. Я подробно ему обо всем написала, а о себе написала, что жду Васю Е.

Саша был очень рад моему письму. Его ответное письмо было пронизано каким-то лиризмом, солнечным светом. Оно отражало настроение наших воинов, ведь то был конец февраля 1945 года. Все потери, смерти близких людей за годы войны были еще свежи, но еще ближе была Победа, и мысли русских людей, русских воинов были заняты одним: как можно быстрее покончить с войной. Думалось о мирном времени, о мирной работе. Вот это все и отражалось в Сашином письме. Он был удивлен, что я всю войну ждала Василия, ведь раньше он никогда не видел нас вместе. Писал, как бы он был

счастлив, если бы его так же ждали. Он прислал мне тогда еще довоенную свою фотокарточку. А оказывается, его тоже любили и еще как! Но об этом он так и не узнал. Да, фотокарточку мне пришлось отдать Леле К. Она в то время очень болела, а летом умерла от порока сердца.

Как много их, друзей юношеских лет, не вернулись с фронта или погибли в годы ленинградской блокады и даже уже в мирные послевоенные годы. Милый Саша, и тебе не довелось вернуться в свой родной город. Ты остался лежать в чужой земле, но я еще часто вижу тебя во сне. Это один и тот же сон: Саша живой, но очень больной. В нашем доме № 19 на улице Ткачей в своей квартире в полумраке он лежит в кровати и просит к нему не заходить, боится, что я увижу, как он изуродован. Или я прохожу мимо его окон, он сидит у окна и тут же прячется. Я знаю, что он сгорел в танке, но во сне я верю, что он жив. И этот сон сопровождает меня все послевоенное время. Война оставила свои отметины в каких-то уголочках нашего мозга на всю жизнь. Сны, сны одного содержания на всю жизнь. Нередко во сне я вижу маму, папу и Юрика, и всегда умирающими дистрофиками. После того, как они умерли в январе, феврале, апреле 1942 года, я не могу вспомнить, чтобы хоть раз я их видела во сне здоровыми. И вот сегодня (30.11.74) мне снова снилась мама. Она лежала в кровати изможденная, очень худая, без движения, а я пыталась ее убедить, что она не умрет.

Я не была на фронте, я была в городе-фронте. Немцев я видела только пленных, да еще в фильмах, читала о них в книгах. Но как часто появляются они во сне, пытаются тебя, гонятся за тобой, расстреливают. Как часто видишь себя бойцом-фронтовиком. Те далекие военные дни, они всегда рядом со мной, они не забываются. И если за трудовым днем порой и отойдут они на задний план, то тут же предстанут во сне во всем своем правдивом отражении.

Зимой 1944 года я встретила на улице Ткачей нашу преподавательницу по математике Марию Павловну В. Мы ее знали в школе как очень строгую, требовательную, порой, казалось, даже злую учительницу. А теперь, когда мы встретились с ней после блокады, она мне показалась другой - сердечной и доброй. Мария Павловна по-прежнему преподавала математику в старших классах. К сожалению, она много болела: ее мучил радикулит. Я ее часто навещала - она жила

недалеко от меня. С ней всегда было так уютно и хорошо. Это был очень интересный человек, она действительно была чудесным, справедливым человеком. Встречи с ней меня многому научили. Зимой, когда я училась в ЛИСИ (1944-45 гг.), я получала стипендию 300 рублей (на старые деньги). В день выдачи стипендии, несмотря на 25-градусный мороз, я шла из института пешком до Московского вокзала. На углу Невского проспекта и улицы Марата продавалось мороженое. Вначале оно стоило 30 рублей, а потом 25. Не могла я в день стипендии отказаться от такого соблазна. Моей стипендии мне не хватало, и я шила жителям нашего дома. Я обшивала дочь Татьяны Б. Эта пятилетняя хорошенькая девочка для меня была как кукла, которой я когда-то очень любила шить. Шила халат Зине О. и другим. Как и мама раньше, я брала за шитье, сколько дадут. Лишь бы хватало на хлеб.

Апрель прошел в полной уверенности, что скоро, очень скоро будем праздновать Победу. И вот этот день настал! Уже 8 мая стало известно, что немцы согласились на капитуляцию. А вот и 9 мая! Недели тому назад ленинградцы вышли на первомайскую демонстрацию, как в мирные дни. И ничего, что Ленинград еще был весь в ранах, мы их залечим! Только за прошедший год столько восстановлено разбомбленных домов!

И вот настал праздник, праздник долгожданной Победы!

День был солнечный, теплый. Мне хотелось быть одной со своими мыслями, со своими мечтами. Народ ликует, и я рада, а на душе тяжесть. Я снова возвращаюсь в этот торжественный день к тем, кто не дожид до него. Я иду по Невскому проспекту и вспоминаю, как перед самой войной мы проходили здесь с Люсей С. и Сережей Ш., дожидаясь киносеанса в "Титане". На Аничковом мосту стояли вздыбленные кони Клодта, как и сейчас. А ведь совсем недавно их не было, и мост был пустой и какой-то чужой. Снова вспоминаю дорогих моих маму, папу, Юрика. Все это очень омрачало праздничный день.

А вечером салют, большой салют из 324 орудий 24 залпами возвестил о полной победе наших войск. Наконец настало долгожданное мирное время. Но сегодня оно только началось! А сколько еще кругом осталось мин, неразорвавшихся бомб, которые еще не раз напомнят о себе. Сколько жизней еще унесут эти сюрпризы

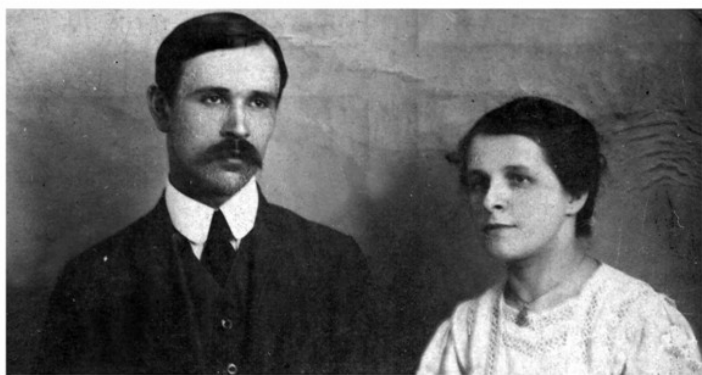
войны. Но сейчас люди не думали об этом. Все ленинградцы вышли на улицы и площади, кругом звучала музыка, люди кружились в вихре вальса, радость захватила всех!

Из репродукторов раздавались ни с чем несравнимые слова: "Война кончилась! Конец войне!" В этих словах было все: и горечь утрат, и невыносимая боль за поруганные советские города, за русских людей, уничтоженных в лагерях смерти, за ленинградцев, заполнивших братские могилы, за всех тех, кто не вернулся с войны. Эти слова остановили наконец уничтожение людей! В этих словах было наше будущее, мирные дни с мирным строительством, возвращение наших воинов из чужих стран. Это были слова, возвещавшие начало мирной жизни после четырех лет войны.

Вот чему радовались ленинградцы, пережившие 900 дней ужасных лишений и невзгод: вместе со всем народом Земли, жаждущим мира, они ликovali!



"Утренняя заря" (1942 г.)
Рисунок Тани Щербиной (Т.А.Козупеевой)



Родители: Щербин Алексей Владимирович
и Щербина Прасковья Тимофеевна



Т.А.Щербина (Козупеева) 1937 г.



Брат
Щербин Георгий (Юрий)Алексеевич



Подруги: Надя Быкова,
в центре Татьяна Щербина (Козупеева), Люся Самбунова



Молодожены: Т.А.Козупеева и В.М.Козупеев
26 апреля 1949 г.



Т.А.Козупеева, 1953 г.

Т.А.Козупеева
среди создателей коллекции
тропических
и субтропических растений,

слева А.А.Исупова, справа А.А.Егорова (Лештаева), конец 50-х годов



Козупеева Т.А. (1960-е годы)



Т.А.Козупеева к.с.-х.н.,
директор Полярного ботанического Сада-Института
с 1962 по 1986 годы



С ветеранами
Великой Отечественной войны и коллегами по работе



Т.А.Козупеева с поэтом Львом Ошаниным (слева)
и председателем Президиума КФАН СССР Козловым Е.К. (справа),
70-е годы



Т.А.Козупеева на заседании Президиума КФАН СССР, 70-е годы



Т.А.Козупеева среди участников встречи
Коми, Карельского и Кольского филиалов Академии наук СССР,
80-е годы



Т.А.Козупеева в Мурманском морском биологическом институте,
80-е годы



Т.А.Козупеева при вручении ордена "Знак Почета" ПАБСИ,
1981 год



Т.А.Козупеева в оранжерее, 90-е годы



ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Уже много лет спустя, 5 мая 1978 года, в Полярно-альпийском Ботаническом саду читал лекцию о международном положении Олег Георгиевич И., инструктор Мурманского обкома КПСС. Он пришел за час до лекции, и у меня в кабинете возник разговор о блокадном Ленинграде. В 1950 году он учился в Высшей ленинградской партийной школе и там встречался с блокадниками. Одна женщина рассказала ему, что во время войны было всякое: были случаи, когда люди ели покойников, сходили с ума, выхватывали карточки, хлеб и даже убивали друг друга.

Да, были такие случаи, но они были единичными и никогда в памяти не концентрировались, а вспоминались лишь разрозненно.

В те далекие годы в основной массе своей люди верили в победу, их мысли и чувства были чистыми, бескорыстными.

И все же в растревоженной памяти вдруг поплыли один за другим же эпизоды блокадной жизни, которые характерны для человека с нарушением психического равновесия, вызванного, прежде всего, голодом. Здесь и рассказ Маши Камышиной о том, как ее накормили жарким из мяса умершего ребенка, и та женщина, выброшенная у здания прачечной, у которой на второй день были вырезаны икры на ногах, хотя и резать-то там было нечего, были одни кости.

Был случай и в нашем строительном цехе уже в апреле 1943 года. Нам выдали карточки, и одна пожилая женщина пригласила к себе молодую рабочую. Когда они сели пить чай, она ударила ее топором по голове. И лишь счастливая случайность помогла убежать девушке. На работу она пришла с забинтованной головой, а вторая так и исчезла.

Или тетя Зина З., которая уваливала от работы на баррикадах. Говорили, что она украла у племянницы карточки, а когда та умерла, выбросила ее на лестницу.

Даже тогда потряс нас рассказ Росте. Когда утром он вышел из дома, во дворе лежала убитая женщина. Она не была дистрофиком. У нее была вырезана грудь и вынуты внутренности.

Были случаи, когда от голода у людей наблюдалось помутнение разума. По Московской улице много дней дочь возила на саночках труп своей матери. Под большим секретом мне рассказала научный сотрудник О.М., как в блокаду на почве голода она попала в психиатрическую больницу.

Нередки были случаи (особенно в декабре 1941 - январе 1942 года, когда были мизерные нормы хлеба, а карточки не отоваривались), когда прямо у прилавка в булочной у людей выхватывали хлебные карточки или хлеб. Это были мужчины в последней стадии дистрофии, а еще чаще мальчишки-ремесленники. Они появлялись неожиданно и, выхватив хлеб или карточки, убегали, если их не успевали схватить. Ну а те, кто уже не мог убежать, тут же съедали этот хлеб. Их били, но хлеб из своих рук они уже не выпускали.

Встречались и рвачи, эгоисты, злые люди. Голод обнажил их поганые чувства, их грязные души. Это были выродки. О них не хочется писать, их нельзя назвать ленинградцами. Спасая свои жизни, они не думали об окружающих их людях. Их судили люди, их судил военный закон.

Это и еще многое другое мешало сосредоточиться и слушать лекцию. Никак было не остановить поток воспоминаний. И думалось: нужно и об этом помнить, помнить, что были среди блокадников и слабые люди, которым нужна была помощь, других просто убрать от людей, а изменников уничтожить. Их было немного, но они мешали жить другим.

Так уж устроена память человека, что от злого она возвращается к доброму. И моя память переключилась на другие воспоминания, а они затмили все плохое, хорошего было гораздо больше, больше было хороших людей.

Это были и мои родные мама, папа и Юрий. До конца дней своих они сохранили высокую нравственность и человеческое достоинство.

Это родственники: тетя Леля, дядя Федя, Маруся, тетушки Мария и Александра и другие.

Это Валя Дьякова, с которой мы работали на заводе Ленина. Ее старенькая мама так была похожа на мою мамочку. Я бывала у них дома на улице Чайковского. В те тяжелые для меня дни, когда я потеряла всех своих близких, родных, они помогли мне пережить мою утрату. А ведь они были вдвоем, и их участие и доброта нужны были мне, а не им, но это были ленинградские интеллигенты.

Очень хорошо относилась ко мне тетя Паня Е., и я платила ей тем же. Когда она слегла, я ухаживала за ней и помогла встать на ноги.

Очень недолго работала у нас на заводе пожилая женщина с улицы Желябова. Я не помню, как ее звали, но доброту ее я никогда не забуду.

А Сергей Иванович М., разве забыть его отношение ко мне, как к дочери? Его дочь в то время была на фронте.

И начальник цеха Павел Александрович, который, можно сказать, спас мне жизнь, уговорив врача не отправлять в Боткинские бараки, а оставить в общежитии. Какую ответственность он брал на себя! Много хороших людей встретилось на моем пути в те годы и потом. Люди, пережившие самые трудные месяцы блокады, как-то сроднились, помогали друг другу. Они стали добрее. Я и сейчас отношусь к ленинградским блокадникам с особым уважением. Они отличаются своей мягкостью, честностью, правдивостью.

Когда моей внучке, Галочке, исполнилось шесть лет, она меня спросила: "Бабушка, в блокаду люди умирали, а как же ты осталась жива?" В этом вопросе отражена детская непосредственность, искренность. Вот и написала я для нее эти записки о том, как тогда жили люди и я среди них.

Но такой вопрос я слышала и от взрослых, и даже образованных людей. И каждый из них вкладывал в этот вопрос свой смысл. И уже совсем горько слышать такие слова, обращенные к блокадникам: "Блокадники все на Пискаревском кладбище лежат, а вы откуда?"

Не в пример тем страшным голодным временам, сейчас, в мирное время, так много стало злых людей. Они готовы словом убить человека. А это страшно! Были и тогда злые люди, но их были единицы, а сейчас... Нередко бывает, что родные люди ненавидят друг друга, и тому причиной злая зависть. И о какой человеческой порядочности и

доброте можно говорить в этих случаях. А сколько лжи, клеветы допускают они по отношению к родным и окружающим их людям. Как низко упала наша нравственность. Тот, кто позволяет себе обогатиться, оскорбить человека, является ли он сам человеком? И как часто такие "человеки" обладают еще и садистскими наклонностями. Сейчас уже трудно ждать повышения нравственности таких людей, возвращения доброты. Но ведь они воспитывают себе подобных!

И только оздоровление окружающей среды, специальная подготовка преподавателей и воспитателей, подбор добрых, умных учителей вместе с добрыми родителями поможет оказать положительное влияние на молодое поколение. И хочется ответить тем, кто решил, что блокадники только в братских могилах. Нет, еще не все блокадники умерли. Но вы их не бойтесь. Живут они, в большинстве своем, в коммунальных квартирах, получают мизерные пенсии, им не нужны уже ни машины, ни дачи.

Блокадники выжили тогда благодаря своей молодости, упорному труду, благодаря воле к Победе, оптимизму и доброму сердцу. Жить все хотели. Но не каждому удалось выжить. Каждый человек индивидуален. Тут все имело значение: и возраст, и здоровье, и настроение, и предвоенная упитанность организма. В первую очередь умирали мужчины, потом дети, молодые девушки, недостаточно упитанные и старые люди. И при всем желании родных помочь им не падать духом, ободрить их - ничего не помогало. В семьях получали и иждивенческие карточки, и детские и рабочие, и все это объединяли вместе и питались одинаково, но и это не помогало. Все зависело от состояния и индивидуальности человека. И все они, и умершие, и оставшиеся в живых, смертью и жизнью своей отстояли Ленинград.

Ну, а теперь постараюсь ответить на прямой Галочкин вопрос: «Как я смогла выжить?»

Нас в семье в начале войны было четверо: папа, мама, я и брат Юрий. Началась война и мы все продолжали заниматься своим делом: папа работал на железной дороге помощником машиниста - работа тяжелая, Юра работал фрезеровщиком на заводе Ленина, я - табельщицей на 10-м элементном заводе и училась на вечернем отделении в Железнодорожном институте, мама была домохозяйкой - выкупала продукты, готовила обеды.

Все мы были разного возраста и разного здоровья. Папе было 54 года. За два года до войны он перенес тяжелейшую операцию по поводу перитонита. Тогда никакой надежды на то, что он выживет, не было. И все-таки он выжил, шесть месяцев был на инвалидности и вернулся снова на работу. Он всегда был худощавый. Мама была на семь лет старше папы. Невысокого роста, она была очень худенькой. Ела мама всегда очень мало. Юрику было 17 лет. Здоровье у него было не из крепких, врачи говорили, что у него слабые легкие, в детстве его даже отправляли в легочный санаторий. В еде был разборчив. Ел неохотно и мало. Был худощавый, среднего роста. Самой упитанной и здоровой была я. Мне было 19 лет. Ела я все без разбора. Особенно любила макароны в любом виде. Во дворе было две Тани, и меня почему-то называли Таня Толстая, хотя я считала, что Таня Р. полнее меня.

Такими мы были в начале войны.

До второго снижения продуктовых и хлебных норм в сентябре нам всего хватало. В октябре мы уже начинали чувствовать голод. Мама простаивала длинные очереди, чтобы достать дуранду, пекла лепешки, варила кашу, но все это было почти без масла, не калорийно, и мы лишь набивали свои желудки. Снижение норм хлеба в ноябре и декабре, плохо отовариваемые карточки привели к весьма и весьма ощутимому голоду. У папы первого начали пухнуть ноги, и в конце декабря он уже не смог ходить на работу, а в январе уже не вставал с кровати. 10 января он умер.

У папы и у Юрика были рабочие карточки, им полагалось по 250 граммов хлеба, у меня - служащая - 150, у мамы иждивенческая - 125 граммов. Мы договорились с мамой, чтобы мужчинам полностью отдавать их хлеб, а свой делили пополам. Мы видели, как папа и Юрик тают на глазах, и очень боялись за них. Когда умер папа, мы Юрику также отдавали его норму хлеба, но и он в середине января слег. Кроме хлеба, по карточкам в январе ничего не выдали из продуктов. Есть было нечего. Я ходила, но у меня тоже стали пухнуть ноги. И как мы не старались друг друга поддержать морально, Юру уже ничто не могло спасти. Он умер 3 февраля.

Почему папа, почему Юра, а не я? Это еще раз говорит о том, что первые умирали мужчины, тем более, что они не отличались крепким

здоровьем. Папа и Юрик слегли и не вставали, чего я очень боялась. Когда у меня стали опухать ноги и стало труднее ходить, я заставляла себя ходить. Тогда еще был жив Юрик, и мама не вставала, мне нужно было выкупать хлеб, ходить за водой, на работу. И это меня заставляло держаться на ногах. А потом осталась одна мама, я должна была ухаживать за ней. И если бы она не была до войны такой худенькой и немножко побольше ела, она бы не дошла до полного истощения, она бы пережила голод. Ведь она, уже совсем ослабевшая от голода, все же пыталась, даже сидя в кровати, перелицевать мне костюм, а то и встать с кровати и подмести пол, хотя это доставалось ей с очень большим трудом. К тому же она не теряла надежды выжить. 24 апреля 1942 года мама умерла. Ничем я не могла ей помочь. И причина та же: пожилой возраст и худощавое телосложение еще с довоенного времени.

Я в те годы очень похудела, ослабла, ноги пухли, была цинга, но, вероятно, запасы прежней упитанности позволили мне выжить. И самое главное во всем этом то, что я не слегла. И потом, оставшись одна, я поддерживала постоянно себя трудом: по 10-12 часов работала на заводе, в оставшееся время читала, вязала, вышивала, рисовала, шила. Все это и есть то, что спасло меня от смерти.

Содержание

Предисловие ко второму изданию	4
Предисловие	6
Об авторе	7
Введение	12
Так началась война	15
В кольце блокады	28
Вместо заключения	96

Козупеева Татьяна Алексеевна
В ТЕ БЛОКАДНЫЕ ГОДЫ В ЛЕНИНГРАДЕ

Технический редактор В.Ю. Жиганов

Подписано к печати 20.05.2015

Формат бумаги 60х84 1/8.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times/Cyrillic

Усл. печ. л. 11.62. Заказ № 13. Тираж 150 экз.

Российская Академия Наук

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Кольский научный центр Российской академии наук
184209, Апатиты, Мурманская область, ул. Ферсмана, 14